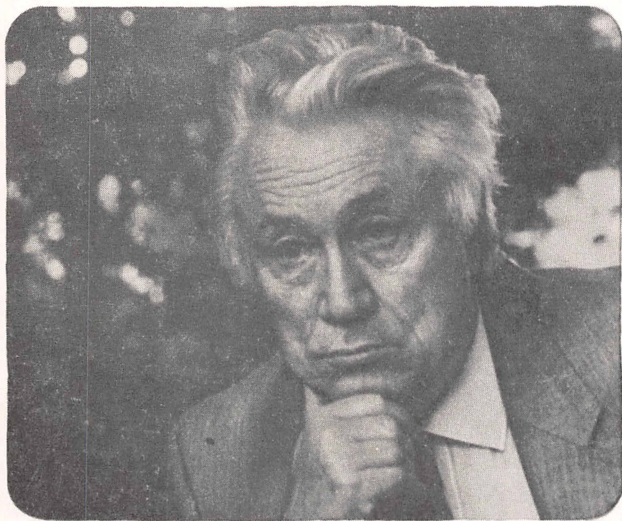


# ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ



Юрий НАГИБИН

**МОСКВА... КАК МНОГО  
В ЭТОМ ЗВУКЕ...**

·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Юрий НАГИБИН

**МОСКВА... КАК МНОГО  
В ЭТОМ ЗВУКЕ...**

МОСКВА  
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»  
1987

Писатель Юрий Нагибин широко известен не только своими книгами, но и остропроблемными выступлениями в защиту архитектурного облика Москвы, «чтобы не были навсегда стерты равнодушием, невежеством, хладносердием ее неповторимые черты». В книгу вошли очерки, в которых автор размышляет и о том, что тревожит душу, и о том, что вселяет надежду.

**ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ:**

**БОНДАРЕВ Ю. В., БЕНЕНСОН А. Н., БЛИНОВ А. Д.,  
ВИКУЛОВ С. В., ИВАНОВ А. С., КРАМИНОВ Д. Ф.,  
ЛОПАТИНА Е. К., МЕДНИКОВ А. М., ПОВОЛЯЕВ В. Д.,  
РОСЛЯКОВ В. П., СЕРГОВАНЦЕВ Н. М.,  
ШАПОШНИКОВА В. Д., ШУРТАКОВ С. И.**

**Юрий Маркович Нагибин**

**МОСКВА... КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...**

Редактор О. А. Рябова. Художник О. С. Теслер. Художественный редактор Л. Е. Безрученков. Технический редактор Е. В. Кузьмина. Корректор С. В. Мионовская.

ИБ № 5108

Сдано в набор 16.04.87. Подп. в печать 28.08.87. А02344. Формат 70X108/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,20. Усл. кр.-отт. 4,46. Уч.-изд. л. 4,70. Тираж 50 000 экз. Заказ 134. Цена 20 к. Изд. инд. ХД—171.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

ПО «Чертановская типография» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Мосгорисполкома. 113545, Москва, Варшавское шоссе, 129а.

## ОТ АВТОРА

Тема Москвы проходит через всю мою литературную жизнь. Я потомственный москвич, увидевший свет в старинной и прекрасной части Москвы — возле Чистых прудов. Мои детство и отрочество неотделимы от старых московских переулков, огромной гулкой коммунальной квартиры, глубокого московского двора и дивных садов, посаженных еще при Алексее Михайловиче. В моих биографических циклах «Чистые Пруды» и «Книга детства» Москва не столько среда, в которой действуют юные персонажи, сколько главный герой. Я был неразлучен с Москвой вплоть до Отечественной войны.

Но потом случилось многое, что увело меня от родного города: я стал постоянным жителем поселка на берегу Десны-подмосковной; страстное увлечение охотой и рыбалкой открыло мне новую среду обитания, затем меня постигла длительная влюбленность в Ленинград, приковавшая к невским берегам. Литературно это привело к исторической теме; герои книги «Царскосельское утро», которой я отдал более десяти лет жизни, в основном — петербуржцы. В дальнейшем мною овладела «охота к перемене мест», я стал много ездить и по стране и по чужим землям. И отдалился душой от своего города. О том, как произошло возвращение к «родному порогу», рассказано в очерке «Москва... как много в этом звуке...», давшем название книге. Значительную роль в этом сыграл художник Е. Куманьков, с редкой полнотой запечатлевший подвижный лик Москвы в своей графике и живописи. Я словно из дальнего путешествия вернулся и навсегда — знаю это твердо — прильнул к Москве, сохранив благодарную память о ленинградской сказке, о многих прекрасных землях, которые посчастливилось увидеть.

А потом Москва вступила в трудный период своего бытия, за нее стало нужно бороться, чтобы не были навсегда стерты равнодушием, невежеством, хладносердием ее неповторимые черты. Так возник очерк «О Москве с надеждой и любовью», вызвавший на редкость дружный и горячий отклик не только у москвичей, но и у жителей самых отдаленных пределов нашей Родины и породивший постоянную рубрику в газете «Советская культура».

В третьем очерке — «Пробуждение» мне захотелось приглядеться к тому, что сдвинулось в московской жизни, и к тому, что по-прежнему тревожит душу. А сдвинулось главное: настроения москвичей, которые уже не будут мириться с той пассивной ролью, на которую обрекало их прежнее руководство города. Мы все теперь хотим сами ответить за свой город и чтобы ничто не решалось тут без нашего участия и совета. Это укрепившееся гражданское чувство — самое отрадное, чем одарил нас минувший нелегкий 1986 год, и в чувстве этом — залог будущего Москвы.

### **МОСКВА... КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...**

Мальчик с рыжей головой смотрит в окно на расстилающуюся перед ним московскую окраину. Он видит раскисшую мартовскую землю еще не застроенного пустыря, пересеченного железнодорожной насыпью — вскрывшаяся белесомутная река, на другом берегу, за необжитой землей, — кварталы новых высоких домов, а в глубине, на фоне лимонных утренних небес, голубой силуэт университета.

Мальчик стоит, вытянувшись в струнку, на подставке — деревянном кругляше, что придает ему сходство со статуэткой, тонкие руки засунуты в карманы джинсов, слева от него, в бутылке из-под кефира, тополиная веточка выпустила острые зеленые листики, они родственны друг другу — мальчик и веточка. По сторонам трогательно большой рыжей головы торчат розовые ушки, выдавая

скрытое напряжение маленького наблюдателя, чьи глаза, жадно пожирающие мир, как и все лицо, скрыты от нас.

Я смотрел на него с уважением, нежностью и странной печалью, о причине которой догадался далеко не сразу. А когда догадался, то не изгнал эту печаль, а приник к ней сердцем. Я вспомнил другого мальчика, умевшего так же пристально и очарованно глядеть в окошко на дарованный ему мир: задний двор огромного дома в старом московском переулке, сухие, как наждак, а когда и мокрые, блестящие от дождя или толсто заснеженные крыши и вздымающиеся над ними, прямо против окна, пятиглавье древней церкви Николая в Столпах. Один из куполов был усеян по темно-синему фону крупными золотыми звездами, потухающими с появлением небесных звезд. Но бывало, что месяц становился прямо над темным куполом, почти касаясь рогом верхушки креста, и тогда, зажженный им, пучок крупных золотых звезд вписывался в узорчатую ткань ночного неба. Стаи городских птиц кружили над Николой, воробьи и галки садились на кресты, а голуби на кокошники.

Но не только церковь привлекала мальчика. Его глаза с той же жадностью обращались к глубокому, как колодезь, двору соседнего высоченного дома — таинственной державе, куда не имели доступа чужаки под страхом смертной казни, к длинной плоской крыше, кроющей построенные стена в стену деревянные сараи, среди которых был напоенный чудесным запахом березовых дров сарай, принадлежащий семье мальчика, к голубятне над этой крышей в ближнем ее конце, к маленькому, с копейку, садику в глубине под окнами, с кустом сирени и скамеечкой возле увитой диким виноградом стены,— этот садик проглядывался лишь летом, когда распахивались окна и можно было, свесившись, глянуть вниз.

Простора, дарованного рыженькому наблюдателю, у этого мальчика, жившего в центре города, разумеется, не было, но он не чувствовал себя обделенным, ибо не мог насмотреться всласть и на то, что ему принадлежало. Я это

твердо знаю, ведь я и был тем самым мальчиком, счастливым обитателем дома, выходившего фасадами на три (!) старых московских переулка: Армянский, Сверчков (бывший Малый Успенский) и Телеграфный (бывший Архангельский). Я застал эти названия, а вот о старом названии Армянского — Никольский или Столповский, по церкви XVII века Николы в Столпах, знал с чужих слов. А еще он назывался одно время Артамоновским, по двору знаменитого дипломата времен царя Алексея, боярина Артамо-на Сергеевича Матвеева.

Но дом обладал не только тремя фасадами, но и двумя дворами, что тоже не часто встречается. Я жил во втором дворе, а в Армянский переулок выходил длинной, как тоннель, подворотней первый двор, и все же мы числились и писались не по Сверчкову или Телеграфному, а по Армянскому, о чем ничуть не жалели. В Армянском, кроме дивной церкви Николы в Столпах, источавшей далеко окрест себя теплый ладанный дух, стояла на церковном дворе с чудесной решеткой, под сенью вековых ясеней и вязов, усыпальница бояр Матвеевых, которую мы в те годы упорно называли «гробницей боярина Морозова». И ведь существовал такой боярин, воспитатель царя Алексея; после женился он на сестре царицы, направлял всю внутреннюю политику России, драл семь шкур с тяглового люда и вызвал страшные «морозовские бунты», но мы, конечно, ни о чем таком не знали, просто была на слуху суриковская боярыня Морозова, а фамилия Матвеева ничего нам не говорила. Не знали мы и что гробница построена «в виде римского саркофага с двумя портиками и колоннами в 1820 году на месте избы с высокой тесовой крышей» — старой усыпальницы, но это нисколько не уменьшало очарования места, напротив, усиливало, ибо таинственный туман привлекательней для юной души холодного знания.

Было великим удовольствием перелезть через высокую решетку со стреловидными наконечниками, безжалостно рвавшими штаны, взбежать по замшелым, обшарпанным ступенькам и мимо источающих влажную стынь колонн

испуганно посунуться к темному пролому в стене склепа, откуда шибало спертым могильным тленом. В кромешной тьме едва угадывались какие-то продолговатые каменюки — разбитые надгробья, как я теперь понимаю, но мы были убеждены, что видим кости и даже... обызвествленные боярские сердца. Да, да, я ничего не придумываю!.. Невероятно, что и повзрослев я продолжал этому верить. Если уж быть до конца откровенным, то лишь сейчас за листом бумаги открылся мне бредовый вздор детского мифотворчества, столь прочно вросший в душу.

А еще была у нас армянская — с высоким куполом — церковь в глубине обширного светлого двора, мощенного лобастым, гладким, будто полированным булыжником. Эту церковь построила богатая семья Лазаревых, возведенных Екатериной II в дворянское достоинство. Армяне спокон веку жили в нашем переулке, отсюда и название его, но предприимчивый род Лазаревых — их шелка и парча считались лучшими в Европе — покрыл невиданным блеском старое армянское подворье. Особенно преуспел действительный статский советник и командор И. Л. Лазарев, завещавший своему наследнику построить училище для детей обедневших армян. Из этого училища возник впоследствии знаменитый Лазаревский институт восточных языков. Прекрасное здание его сохранилось в неприкосновенности и по сию пору. Равно и памятный обелиск действительному статскому советнику и командору.

А еще у нас был в переулке, да и сейчас стоит дом, в котором провел детство и юность великий поэт Тютчев. Там же жили декабристы Завалишин и Шереметев, у последнего на квартире был арестован Якушкин.

Считается, что дети существуют вне истории, что жизнь их, пользуясь выражением бывшего насельника Армянского переулка, «вся в настоящем разлита». Это неверно. Дети живут и в истории, хотя она входит в их сознание нередко в причудливом мифологическом убранстве. Мы, дети лучших лет Армянского переулка, не были равнодушны к тому, что наше жизненное пространство украшает



древняя церковь Николы в Столпах, нам было сладко произносить эти загадочные, щекочущие небо слова, что в церковном дворике тени деревьев накрывают единственное на всю Москву строение — боярскую гробницу, что у нас есть Лазаревский институт, Армянская церковь и очень, очень старые дома, обиталища знаменитых русских людей. Мы знали, что многочисленные сады вокруг нашего дома — останки громадных царских садов, посаженных двести пятьдесят лет назад, что у нашего переулка на Покровке проходила некогда граница поселения знатных людей, и радовались этому обстоятельству, будто сами принадлежали к знати, и что Покровка запиралась на ночь «Кузьмодемьяновской решеткой». Нам как бы сообщалась некая избранность, и, право же, в том нет ничего плохого, ибо другие ребята округи были отмечены и «вознесены» близостью Покровских казарм или Меншиковой башни. Главное — было бы чем гордиться. И мы гордились прошлым, так плотно обступившим наш замечательный дом, причастный Октябрю, — в нем находился штаб революционных печатников, равно гордились и самим домом с тремя фасадами и двумя дворами, по углам которых располагались винные подвалы. Эти дворы, вечно запруженные подводами с бочками, фурами, тугими рогожными кулями, распираемыми взрывом сахаром и проспиртованной вишней, — в оглоблях здоровенные битюги, гривастые, с мохнатыми бабками, из-под забранных в узел хвостов то и дело выкатываются на булыжник пахучие яблоки, — были предметом нашей особой гордости, доходившей до зазнайства. Подвалы, бочки, кули, битюги, равно и дровяные сараи, голубятни, помойка принадлежали удивительному настоящему нашего дома, революционная его слава — недавнему удивительному прошлому, свидетели и герои которого назывались теперь просто жильцами, а переулок, по которому писался адрес, погружал нас в удивительную историю Москвы, собравшей вокруг себя всю русскую державу. И мы, дворовая шпана, голубятники, хулиганы, футболисты, похитители пустых бутылок со склада, драчуны,

велосипедисты, вральи, рыцари, плаксы, стонки, лоботрясы, книжники, филателисты, циники, мечтатели, жили исторической жизнью в нашем историческом мире.

Мы и сами не знали, как важна для нас причастность былому, пока не снесли церковь Николы в Столпах, а вслед за ней, превратив на короткое время гробницу в жилье, не уничтожили и посмертную обитель бояр Матвеевых. Снесли и все здание монастырского подворья по Златоустинскому, затем и Армянскую церковь. Всюду на освободившихся площадях были построены школы из серого кирпича. И клянусь, никто не разделял восторга знатока Москвы, в таких выражениях славословившего уничтожение бесценных памятников архитектуры, церкви Николы и гробницы: «На этом месте выстроено прекрасное школьное здание».

В знак — порой безотчетного — протеста многие жители второго двора нашего дома стали писать свой адрес по Сверчкову переулку и сообщаться с городом через него, а не через униженный и обезглавленный Армянский, хотя прежде эти переулки и сравнивать было нельзя.

Но и Сверчков не был вовсе обделен прелестью. Прямо напротив высокой, просторной арки наших ворот и по сию пору стоит замечательный дом XVIII века, построенный, как мы тогда быстро смекнули, самим Растрелли. Мог же он построить за Покровскими воротами пышный дворец, в пору торжества классицизма презрительно именовавшийся «комодом», но для нас, мальчишек и девчонок, свободных от классических пристрастий и предвзятости, прекрасный, как мечта, со своими белыми колоннами и белой лепниной, дивно выделявшейся на лазоревом фоне стен. Так почему бы не построить великому зодчему и дома на углу Девяткина и Сверčkова? Должен сказать, что мы плохо отличали барокко от классицизма.

Там помещалась китайская прачечная, и клубы пара, то и дело вырывавшиеся из дверей, окутывали фасад пухлым белым облаком, мешавшим проглянуть его красоту. Немало часов просидел я на косо́й каменной тумбе, отме-

чавшей с переулка въезд в наш двор, томясь загадочностью чужой непонятной жизни. Вдруг — всегда вдруг — из дома выбегал узкий и легкий телом китаец с седым бобрим волос и худым лицом, обтянутым по лбу, скулам и вискам такой тонкой восковистой кожей, что казалось, она вот-вот лопнет. С уголков рта у него свисало по крысиному хвосту, а с подбородка — несколько длинных толстых волос. Он держал у плеча на ладони левой руки, согнутой в локте, сверток в тонкой розовой бумаге. Прежде чем перейти улицу, он по-птичьи, толчками, поворачивал голову направо и налево, удостовераясь в безопасности пространства. Затем устремлялся вперед, быстро семеня прямыми, как палки, ногами. Он прошмыгивал мимо меня в своей темной легкой одежде: широкие штаны, рубашка балахоном — и скрывался в сумраке подворотни, куда не проникали солнечные лучи. Меня задевал ветерок, рожденный его близким проскользком, и несколько мгновений звучала тихая музыка — колокольчики, нежный мелодичный перезвон, который я действительно слышал ушами, а не творил внутри себя. Китаец уже давно скрылся, а темное волнение не затихало во мне, странные, неясные, печальные образы возникали и таяли, не позволяя взглядеться в себя и назвать словами, единственно дающими власть над явлениями и грезами...

Вечером в прачечную приходила большая, как карусель, и такая же нарядная, вся в лентах, бусах и ярких тряпичках, молодая китайка, увешанная с головы до крошечных ног бумажными фонариками, веерами, трещотками, летающими рыбами, драконами, причудливыми игрушками из сухой гофрированной бумаги. Ах эти ноги со ступнями-обрубками, я не мог к ним привыкнуть! И ведь я догадывался, что китайка не испытывает страданий, и даже как-то смутно знал, что ноги у нее не обрублены, а воспитаны в детстве тугими пеленами, и все же лучше было не смотреть вниз. Я прилипал взглядом к ее круглому, с подрисованными бровями, неподвижно-нарядному кукольному лицу. Китайка протискивалась в маленькую дверь.

Мне представлялось, что, оставив свои локхави с хрустальной пеной, каталки и утюги, китайцы зажигают цветные фонарики, раскрывают нарядные веера и начинают тихо, чинно, плавно танцевать под сладкозвучье колокольчиков и трещоток с непрерывной кровавой каплей сургуля на деревянной ручке, а в парком, влажном воздухе реют летающие рыбы, преследуемые драконами...

Прачечная давно закрыта, китайцы уехали стирать к себе на родину, а дом, посвежевший и поюевший, будто распрямился, одаривая своей нарядностью два переулка: Сверчков и Девяткин.

Сверчков не долго радовал нас. Там началась вырубка старых садов. В предсмертной тоске шумя ветвями и листвою, падали под пилами и топорами вековые дубы, могучие вязы, ясени, дивные клены, уничтожались сирени, жасмины, ракиты. На пустырях стали подниматься «прекрасные школьные здания»... Да здравствует обязательное среднее образование! Но хилые городские деревца, которыми так щедро обсажены московские улицы, добывают из-под асфальта слишком коротенькую, чахлую жизнь своими бедными корнями, они поздно зацветают, рано желтеют, облетают и очень мало дают для оздоровления спертого городского воздуха. По-настоящему освежают город лишь растительные массивы — сады и парки. Но в пору, о которой идет речь, крепко помнили, что все должны учиться, и забыли, что все должны дышать...

Нашему крылу дома сказочно повезло. Запертые на замок с дней революции, открылись парадные двери, и мы получили выход в тихий, задумчивый, не тронутый школьным строительством Телеграфный переулок.

Он обстроен высокими, добротными доходными домами, есть там и несколько приземистых одноэтажных зданий XVIII века — приспособленные под жилье конюшни, но главным его сокровищем была и осталась знаменитая бело-розовая Меншикова башня, как издавна прозвали в народе храм Архангела Гавриила, приютившая у своего подножия скромную церковь Федора Стратилата. Башню

возвел в 1705—1707 годах по повелению царского фаворита лучший московский зодчий той поры Иван Зарудный, первый художественный цензор России. Церковь построил на век позже любимый ученик Матвея Казакова И. Егоров...

Жизнь увела меня от места моего начала. Мы переехали в один из тихих арбатских переулков, и Москва открылась мне, уже юноше, иной прелестью. Там, в первом мире, царили XVII—XVIII века. В своем рассказе я несколько сузил пространство детства, оно не замыкалось в чистопрудных переулках, было шире, охватистее. И расширилось оно преимущественно в одну сторону, совпадающую с изначальным направлением роста Москвы: Покровка — Басманная — Разгуляй — Елоховская. Москва тянулась за царевым путем из Кремля в подмосковные вотчины: Покровское, Измайлово и Преображенское. И я тянулся туда же, ибо у Покровских ворот находилась моя школа. На Басманной Дом пионеров, у Разгуляя футбольное поле, на Елоховской поликлиника, а в Лефортове площадка для военной игры. Я следовал за царем Алексеем до Немецкой улицы, здесь наши пути расходились: царский возок двигался напрямик, я же отваливал вправо, к Лефортову.

А вот в Приарбатье меня окружила Москва, какой она стала после пожара 1812 года. Вместо дворцов, палат и городских усадеб — реже каменные, деревянные, оштукатуренные особняки об один-два этажа. Вместо пышных храмов, преимущественно нарышкинского барокко, небольшие церкви и много, много старых деревьев, но не в садах, а в палисадниках и малых двориках; из-за каменной или чугунной ограды клены простирали над узкими тротуарами раскидистые ветви в лапчатых листьях. Сухой осенью нежно шуршали арбатские ночи. Тихи, тенисты и уютны были эти редко прямые, куда чаще извилистые, причудливо искривленные переулки. Как славно было здесь жить после всех ужасов наполеоновского нашествия, небывалого в истории Москвы опустошительного пожара, пощадив-

шего по странной игре случая все триста шестьдесят полицейских будок.

После пожара комиссия во главе с лучшим зодчим Бове, создателем Большого театра, Триумфальных ворот, Градской больницы, разработала типовые, как мы сейчас говорим, проекты жилых домов для людей разных званий и достатка. И когда любишься многочисленными особняками той поры, сохранившимися не только в районе Арбата, но и в других частях города, то радостно удивляешься их разнообразию, «лица необщим выраженьем», и старушка Москва, впервые подчинившаяся строительному плану, сохранила свой живой облик, и прав был некий коренной москвич, писавший в те годы: «...ходя по Москве, вы не идете между двумя рядами каменных стен, где затворены одни расчеты и страсти (накопительские, надо полагать.— Ю. Н.), но встречаете жизнь в каждом домике отдельно». Хоть и коряво, но хорошо сказано!..

Арбатские переулки, расположенные в квадрате, образуемом Садовой, Кропоткинской, Гоголевским бульваром и самим Арбатом, в наибольшей цельности донесли до наших дней образ «послепожарной» Москвы. Границы Приарбатья правильной было бы числить по улице Воровского, но с появлением Калининского проспекта эти кварталы имеют «смятенный вид». Чистая и светлая пора в московском градостроительстве замутилась на исходе XIX века, а в первое десятилетие двадцатого столетия окончательно возобладал модерн вперемежку с псевдорусским стилем — претенциозная безвкусица алчной эклектики. На фоне особняков-ракушек, знойных мавританских мотивов, столь неуместных дев под карнизами выигрывала добротная архитектура «доходных» домов, не претендующая на ранг искусства, но не оскорбляющая вкуса и служащая своему назначению.

Словно некой центробежной силой меня уносило все дальше и дальше от исторического ядра столицы. Начинал я жизнь в Белом городе, невдалеке от Китайской стены, где шелестел листьями старых фолиантов книжный развал,

продолжал в пределах Земляного города, а завершаю за Камер-Коллежским валом, созданным в отличие от остальных московских «городов» не обороны ради, а на предмет недопущения в столицу беспощадного вина. За бывшей винной заставой в нашем районе нет ни московских древностей, ни московской старины, если исключить немногие ветхие дореволюционные дачки ропетовского стиля, в котором доверчивый и увлекающийся В. В. Стасов усмотрел возрождение национальной русской архитектуры. Задавленные корпусами новостроек, дачки тихо рассыпаются, изъеденные жуками-древоточцами, среди пыльных ржавых сиреней. Впервые я оказался в архитектурном вакууме. Архитектура в нашей части Москвы кончается на Петровском дворце, построенном Матвеем Казаковым в несвойственной ему манере, и начинается много дальше, в бывших подмосковных усадьбах вельмож. К нам всего ближе Юсуповское Архангельское, дивно спланированное Де Терном, но это и по новым границам уже не Москва.

Историческая и эстетическая пустота нового местожительства, навязав душе чувство постоянного сиротства, способствовала моему отчуждению от Москвы. Тем более что у меня появилось загородное жилье, где я проводил большую часть года. И оставлял я свою берлогу лишь ради Ленинграда. Я был околдован Ленинградом. Многие связывало меня с этим городом: война, работа на «Ленфильме», рассказы, дружба и, наконец, любовь — моя жена коренная ленинградка. И настало такое время, что я и жить стал больше в Ленинграде, нежели в Москве, и узнал его лучше, чем стремительно меняющуюся Москву.

Москва же не только менялась, но и расширялась, продвигаясь к моему загородному жилью близ деревни Ватушки по Калужскому шоссе. По пути она поглотила Воронцово, Коньково, Теплый Стан. Целые микрорайоны вырастали быстрее, чем прежде отдельные дома. Я уже не помню сейчас, в каком году открылся стадион имени Ленина, запестрела ярмарочная площадь перед ним, красиво вписалось в срез Ленинских гор новое здание метро,

но хорошо помню, как ахнул, увидев впервые распахнувшийся во всем великолепии, на зеленом взгорке, дом Пашкова, лучшее украшение Москвы.

Но странно, даже то поистине прекрасное, чем обновилась Москва, не только не приближало меня к ней, напротив, усиливало отчуждение. Влюбленный в «прозрачный сумрак, блеск безлунных» белых ночей, я чувствовал себя в Москве блудным сыном, которого хоть и приносит к отчуждению порогу, но тут же влечет прочь. Я уходил, так и не ощутив прикосновения ищущих рук ослепшего отца. Конечно, я сознавал, что теряю Москву, но утрата не причиняла мне боли. А если порой и теснило грудь, то я быстро излечивался Ленинградом...

А потом в Москву приехала кенийская писательница Грейс Огот. Незадолго перед тем она принимала меня в своем очаровательном, увитом бугенвиллиями доме в Найроби, и я очень сдружился с ней и ее мужем Алланом, видным историком народности луо, профессором университета. Выполняя данное в Найроби обещание, я повез Грейс по Москве. Очень высокая, длинноногая и длиннорукая, с выпирающими, как у всех женщин-луо, верхними зубами и при этом странно и ярко красивая, женственная и стремительная, как антилопа импала, непосредственная, как ребенок, при вечной грусти в глубоких влажных темных глазах, Грейс то и дело требовала остановить машину, зачастую в недозволенном месте, выскакивала наружу, всплескивала руками с шафрановыми ладонями и, задыхаясь, кричала: «Марвелуоз!.. Ит'с марвелуоз!..» И блюстители порядка, вышколенные в духе высокого интернационализма, натянуто улыбались и не гнали нас прочь с восхитившего Грейс запретного места.

Особенно восхищали ее площади. Существует строгое и авторитетное мнение, что в Москве лишь две площади соответствуют высшим архитектурным канонам: Красная, разумеется, и Свердлова, бывшая Театральная. К сожалению, ее испортил грубый торец только что достроенной гостиницы «Москва». И все же, когда Грейс закричала



свое самое громкое «Марвелууз!», потрясенная распахнувшейся перед нами с улицы Горького неохватной площадью, я готов был вторить ей. «Таких площадей нет нигде в мире!» — с некоторым ожесточением утверждала Грейс, а она имела право так говорить, объездив все континенты, кроме Антарктиды, но этот суперпустырь не в счет. Громадность чистого пространства, которое город с невиданной щедростью высвободил в самом центре, в скрещении всех пронизывающих его напряжений, поистине ошеломляюща. И тут уже не до ортодоксальных канонов, захватывает масштаб, царственная свобода жеста, негородское обилие неба (и по контрасту вспоминается душный, запертый Нью-Йорк, где вместо площадей — перекрестки); окаймляют же это воздушное озеро кремлевские стены и протянувшийся вдоль них Александровский сад, торцовый фасад Манежа, старый университет, красивое здание Жолтовского, привившего ренессанс к современным формам, Исторический музей и щусевский — не чета новому — башня гостиницы «Москва». Сама нерасчетливость богатырского размаха покоряет, такое по плечу только Москве.

Но апофеозом нашего путешествия стал обзор столицы со смотровой площадки Ленинских (Воробьевых) гор. Недаром же сюда приезжают новобрачные, и кисейная фата невест, подхваченная ветром, развеивается над глубокой паду. Прекрасно спланирована сама площадка с балюстрадой, и как хорошо, что сохранили маленькую церковь с зелеными главками, будто печать в углу грамоты, дарующей милость, а грамота та — вся расстилающаяся внизу, охватная из края в край Москва. Чудесна крутая излучка реки Москвы, огибающей территорию стадиона; великая причастностью столице, но не ширию и обилием вод, река набирает здесь силу и упругость.

Думается, смотровая площадка помогла решению давнего и некогда ожесточенного спора — насколько уместны в Москве высотные здания. Я принадлежал к числу решительных противников этих полунебоскрегов. Но, положив руку на сердце, как естественно и необходимо вписывают-

ся они в силуэт Москвы! Более того, они-то и создают этот характерный силуэт, отлично уживаясь с златоверхим Иваном Великим, колокольной Новодевичьего монастыря и Меншиковой башней — старыми московскими вершинами. Вот это надо помнить, когда заходит речь о смелых нововведениях: то, что кажется неприемлемым сегодня, завтра может стать естественным, как дыхание. Но случается и другое, об этом в своем месте...

И, взглядываясь в город, погрузившийся в дымчатую синь, предвестницу вечерних сумерек, и совсем забыв о милой, странной Грейс, вдруг запевшей что-то таинственное, как ночь ее родины, хриплым, волнующим, древним голосом, я тщился понять, мой ли еще этот город, или я потерял его навсегда. Город, как и человека, можно потерять, не расставаясь с ним, находясь в каждодневном поверхностном общении. Я с болью почувствовал, что совсем не знаю эту новую Москву и даже боюсь ее. Боюсь, что она стала совсем другой и мне не уловить знакомых, родных черт и не связать настоящего с прошлым. Меня равно не устраивало в отношениях с Москвой ни холодное восхищение постороннего наблюдателя, ни брюзжание пронафталиненного старожила, цепляющегося за уходящую привычность. Мои дела с Москвой всегда были горячи.

Вот тогда я и принялся писать свои московские рассказовые циклы, думая прийти к Москве из дали воспоминаний. Писалось хорошо, увлеченно, прошлое оживало, но мне хотелось чего-то другого, а чего — и сам толком не понимал. Я воскрешал переулки своего детства, но ведь они стали другими, я же сторонился их нового образа. Все написанное ни на шаг не приблизило к сегодняшней Москве.

Выйти из тупика мне помог мальчик с рыжей головой, так напряженно и доверчиво припавший к окну, за которым влажно дышал весной мартовский мир московской окраины.

Мальчик был изображен на плакате, оповещающем об открытии выставки художника Евгения Куманькова, которого я знал лишь как художника кино.

На выставке мне открылся новый Куманьков, для меня новый, ибо другим он был давно известен и как великолепный рисовальщик, и как интересный театральный художник, и как тонкий иллюстратор, хотя его рисунки к «Пиковой даме» остались в листах. Но главным открытием для меня стало, что Москва — ведущая тема графики Куманькова, Москва сегодняшняя, Москва уходящая, Москва наступающая, Москва в борении старого и нового, Москва, Москва, Москва... И всю очарованность Москвой он вложил в прелестного рыжего мальчика, своего сына...

Евгений Куманьков не коренной москвич, он родом смолянин и в Москве поселился лишь с поступлением в институт. Это все, что я знал тогда о Куманькове, хотя знаком с ним без малого сорок лет.

Сейчас я заберу в сторону и поведу речь о связи времен, о причудливости путей, которые мы выбираем или которые выбирают нас, о том, как два человека вслепую шли навстречу друг другу, вовсе о том не ведая и ничуть к тому не стремясь, сближались и расходились, не подозревая нужного в другом, и вдруг на пороге старости столкнулись лбами и, рассыпав искры из глаз, прозрели.

Жил в Смоленске мальчик, учился в школе, выстаивал длинные очереди за хлебом, а когда уже очень замерзал, то бегал погреться в Художественный музей, основанный — он знал об этом, как и все его сограждане, — богатой помещицей и меценаткой Тенишевой. А потом он стал бегать туда уже не для угрева, а чтобы медленно, забыв обо всем на свете, пожирать глазами картины в тяжелых багетных рамах — Архипова, Рериха, Константина Коровина, Малютина, Крымова. Прекрасную коллекцию собрала талантливая русская женщина Тенишева, сама художница, ученица Репина, верный друг Врубеля, Рериха, Малютина. В своем имении Талашкино Тенишева создала кустарную артель, изделия которой удивляли пресыщенных парижан. Талашкинские балалайки расписывали Архипов и Врубель.

Вскоре мальчик стал заниматься в художественной студии, находившейся во дворе музея, к тому времени он уже

твердо знал, что любит больше всего на свете картины и здания. В Смоленске сохранилось немало ценных памятников архитектуры: церкви XII века — Петропавловская, Иоанна Богослова, Свирская, церкви и монастырские соборы XVI—XVII веков, но самым замечательным сооружением был Смоленский кремль, возведенный Федором Кошем, строителем Белого города и крепостных стен с башнями округ Симонова монастыря. Все же, когда пришло время выбирать профессию, мальчик твердо знал, что хочет рисовать, а не строить, и поехал в Москву в изоститут. Но в тот год не было приема, чему он в глубине души обрадовался, усомнившись вдруг в своей подготовленности. Он решил поступить в Торфяной институт, а по вечерам заниматься в изостудии.

Он выбрал Торфяной институт только потому, что там был недобор и принимали крайне снисходительно, особенно парней. Компания на первом курсе подобралась разношерстная: немногие энтузиасты торфяного дела тонули среди провалившихся в ГИТИСе и театральных училищах, Литвузе и балетных школах, филфаке МГУ и консерватории. Непризнанные таланты мучительно томились в ожидании лета, когда можно будет повторить попытку, а Куманькову повезло — среди учебного года Киноинститут объявил прием на три факультета: режиссерский, сценарный и художественный. Не размышляя и не колеблясь, Куманьков забрал свои бумаги и подал их на художественный факультет. Мне это хорошо понятно: я так же бежал на сценарный факультет ВГИКа из Первого медицинского института, куда меня, со школьной скамьи бредившего литературой, загнало неверие родителей в мои творческие силы и назойливые примеры Чехова, Вересаева и Булгакова — врачей, ставших писателями, да еще какими!.. Одурев от зубрежки латинских наименований костей и мышц, не оставлявших ни минуты для марания бумаги, единственного дела, ради которого стоило жить, я впервые одолел барьер покорности родительской воле...

Я хорошо помню Куманькова-абитуриента. Он выгля-

дел самым юным среди всех поступавших на художественный факультет, хотя там было немало его однолетков,— розовощекий, застенчивый, молчаливый, худенький, в капитанке с лакированным козырьком на русой голове, очень провинциальный. Из-за худобы он казался выше ростом, потом меня всегда удивляла коренастая нерослость зрелого Куманькова. Вообще среди «богомазов», как быстро окрестили художников другие поступающие, преобладал тип размашистого молодца, сочетающего житейский опыт с отвлеченностью гения. Было в них что-то замкнуто-цеховое, не растворяющееся в окружающем. Казалось, они приехали целой артелью откуда-нибудь из-под Великого Устюга или Тихвина, где расписывали храм «в мелком строгановом пошибе», и тихий румяный мальчик в капитанке терялся среди самоуверенных художных мужей. Он многим уступал и в профессиональной подготовке. Все же, когда он выполнил с грехом пополам положенные экзаменационные задания: натюрморт, портрет и рисунок обнаженной натуры, на которую стеснялся смотреть, декан художественного факультета, известный живописец Федор Богородский, бывший матрос, циркач, фокусник, сказал, прищурив лукавый синий глаз: «Есть рука!» Это решило дело. Куманькова с тремя тройками приняли. В то же самое время с двумя тройками по спецпредметам прошел и я на сценарный факультет. Экзаменаторы лютовали — наплыв был ужасный, и они отбивались от алчущих развеселой киножизни, как ратники от степняков или ляхов на могучих стенах Федора Коня. Среди будущих кинодраматургов лишь одна стройная девушка с серыми ласковыми глазами получила две пятерки. Сейчас она по справедливости считается одной из лучших модельерш Москвы.

Учились мы с Куманьковым на параллельных курсах до самой войны, не сказав друг другу и слова, даже толком не познакомившись, хотя у него были добрые друзья среди сценаристов,— в общежитии иногородные студенты сходились независимо от цеховой принадлежности, да и я приятельствовал кое с кем из художников. А потом нача-

лась война, Куманьков ушел в ополчение, по расформировании вернулся и вскоре уехал с институтом в Алма-Ату. Я же подался на фронт. Порог ВГИКа я переступил лишь через тридцать лет, когда наш старый профессор В. С. Юнаковский предложил мне провести семинар у будущих кинодраматургов.

Конечно, я был наслышан о киноуспехах Е. Куманькова, но на моих фильмах он никогда не работал. Однажды в коридоре «Мосфильма» состоялось наше повторное знакомство. Мы не знали, как себя вести, вроде бы однокашники, вместе поступали в кинематографический лицей, а ничто нас не связывало, даже общих воспоминаний нет, и слова не идут. Мы молча помялись, потоптались и с облегчением разошлись.

И еще минули годы. Морозным, солнечным, синим днем я сижу в мастерской Куманькова и с жадностью почти неприличной насыщаюсь его рисунками, пастелями, темперными, изображающими Москву. И рыжий мальчик, его сын, выросший в рослого, стройного юношу с пастельно нежным лицом, предлагает мне чашку черного кофе, приготовленного на электрической плитке, и рассеянно, обжигаясь, я пью этот крепкий кофе, а Москва глядит на меня с подрамников, со стен и стеллажей — вся мастерская, снизу доверху, набита Москвой.

Вот эту улицу я вроде бы хорошо знаю, но и не знаю вовсе, потому что лишь в детстве ходил по ней, а взрослым человеком проносился в машине к дому, где находился Гослитиздат. Она взята в удивительном ракурсе, который доступен лишь глазу художника, но никак не фотоаппарату с какой угодно оптикой. Громадное расширение переднего плана, будто раструб геликона, позволяет видеть особняк в стиле классицизма, построенный в самом начале XVIII века для князя С. Б. Куракина, а напротив старинный дом, примыкающий к церкви Петра и Павла, стремительно сужаясь и словно всасывая вас, наблюдателя, как и черную машину, взлетающую на горбину улицы перед церковью, Новая Басманная, чередуя старину с на-

рядными домами начала века и современными гигантами, вовлекает вас в свою тайну. А в чем эта тайна? В озябших ли фигурах, бредущих под зонтами сквозь осеннюю морось, в манящем ли просвете на заднем плане, дарующем улице бесконечность, или это то, не выразимое словом, что сокрыто в сердце художника и дразняще сквозит в его творении? Если б картина, рисунок, скульптура полностью выговаривались словами, то к чему изобразительное искусство, достаточно было бы литературы...

А к этой темпере я возвращаюсь вновь и вновь. Название ее малопоэтично: «Дымы Могэса», но вполне соответствует содержанию: тут действительно очень много густого пухлого белесого дыма, валящего из труб Московской электростанции. Тут вообще очень много всего: дыма, зданий, объявлений, вывесок, автомобилей, отдельных и слипшихся в ком человеческих фигур на белизне непривычно плотного в Москве последних лет снега.

Обыденное и поэтическое так странно и вместе естественно сплелись в этой картине, что, и угадав старый Балчуг, как-то отталкиваешь бедную угадку, ибо не фруктово-овощная палатка на переднем плане, вопреки вывеске, а ярмарочный павильон со всеми его яркими радостями, или звонкая карусель, или... зимняя купальня маркизы. Есть что-то от «мирискусников» в этом горячем, красочном пятне между двумя снегами — на мостовой и на крышах. А дальше, за старыми домами с кокошниками над окнами — там булочная и хозяйственные товары,— возвышаются главки-луковички с золотыми крестами, а за ними, через все небо, взметнулось темное, подчеркнутое белыми морозными дымами Могэса готическое здание котельнического высотного дома, удивительно уместное здесь, как и глухая стена справа с непременным призывом хранить деньги на сберкнижке, что «надежно, выгодно, удобно».

Поражает необыкновенная цельность этого разновременья и разностилья, цельность, не навязанная художником пейзажу, а уловленная им в характернейшем уголке Москвы, умеющей, как ни один город, объединять в нечто

органическое срезы самых разных эпох. Вглядываясь в «Дымы Могэса», я начинал понимать что-то очень важное, без чего не мог бы вернуться к своему городу.

Легко находить красоту там, где она сама предлагает себя: в соборах, башнях, дворцах и теремах Кремля, Василии Блаженном, Новодевичьем монастыре, доме Пашкова, Юсуповских палатах, хотя это не значит, что затасканная многими художниками красота так просто поддается изображению. Тут кроме таланта и мастерства необходима выношенная, выболевшая душой и разумом художественная концепция. Куманьков создает не картинку Москвы, а бесподобный образ города, где прошлое переплетается с настоящим, где отчетливо проступают черты будущего и тихо, скорбно, порой преждевременно умирает старое. Это определяет не только выбор сюжетов, но и точку изображения, ракурс, манеру, стиль, колорит. И Василий Блаженный подается Куманьковым не в рост, как, скажем, собор Новодевичьего монастыря, а лишь сказочными своими главами, и этого достаточно для цели художника, которому здесь хочется лишь радости праздника. А в соборе Новодевичьего монастыря, сияющем белизной высоченных стен сквозь поросль старых деревьев, он дает образ неприступности, мощи юго-западной опоры Москвы. Ведь и сам монастырь обязан своим появлением не религиозному усердию московского государя, а победе русского оружия — освобождению Смоленска. В честь этого славного события он и был основан в начале XVI века.

Для воплощения этой идеи Куманьков привлек и надвратную церковь в глубине пейзажа, подчеркивающую, что собор включен в нечто большее, нежели он сам, и преувеличенные — с точки зрения ползучего здравомыслия — деревья, вымахавшие выше крестов. На самом деле эти березы не достигают и барабанов. Но художник взял пейзаж с нижней точки, от земли, и деревья, что были ближе к нему, нежели собор, взметнулись, стали исполинами и не только не принизили храм, а вместе с ним унеслись в беспредельность, — ни их вершущек, ни островершков крестов



не видно, они за обрезом рисунка. На многочисленных фотографиях, без которых не обходится ни один путеводитель по Москве, собор кажется много, много ниже,— вот чем отличается правда искусства от механического торжества.

Но особенно ценно умение Куманькова находить щемящую красоту там, где другой увидит лишь убожество и тлен. Я имею в виду чудесные старые домики, собранные Куманьковым в арбатских переулках, в Замоскворечье, близ Рождественского бульвара,— деревянные и каменные, маленькие, согбенные, порой сохранившие стать сквозь все выпавшие им на долю испытания, они так подлинны, так «историчны» и просто милы, что и самое черствое сердце не может им не откликнуться. Я не говорю даже о «Бывшем красавце», доживающем век на задах улицы Станиславского, обшарпанном, облупившемся, глядящем в грязный дворик с помойкой и железной бочкой из-под керосина; его изуродованный достройкой мезонин все еще излучает прелесть давно минувшего, опоэтизированного Кустодиевым быта. В этом рисунке меня занимает не только сам домик, но и тот мотив, который часто и, зная, не случайно повторяется у Куманькова: над домиком навис громадный строительный кран.

Этот кран со стальным тросом вносит жгучую тревогу в простое, бесхитростное изображение. Домик обречен, художник запечатлел его последние мгновения... Зарождение нового — всегда смерть старого, и никуда от этого не денешься...

Впрочем, я хотел сказать о другом. Что, казалось бы, привлекательного в корявой, ржавой, со слуховым оконцем крыше приземистого длинного здания, упирающегося в торец высокого, ничем не примечательного и довольно нелепого дома, поскольку за ним опять идут одноэтажные домишки. Правда, по другую сторону стоят два современных здания, одно из них очень похоже на Центральный телеграф, а в глубине зыбятся контуры высотного дома, но и это не скрашивает тусклого городского вида, погруженного в зимнюю хмарь. А хочется смотреть и смотреть

на этот пейзаж, он влечет даже сильнее, чем «Бывший красавец» с пряничной и горькой прелестью.

Я долго пытался объяснить себе этот секрет, но ничего не получалось. Пейзаж грустноват и может совпасть лишь с печальной душой, я же увидел его в добрую, подъемную минуту жизни и все же не мог оторваться. И, отказавшись от попыток обобщения, я вдруг понял, чем он трогает меня. Помните описание вида, открывавшегося из окна моего дома в Армянском переулке? Длинная крыша, объединяющая дровяные сараи, черный двор, торец высокого соседнего дома и прямо напротив, в отдалении, главы церкви. Все так похоже на подсмотренное Куманьковым совсем в другом углу Москвы, даже смазанные очертания высотного дома — ни дать ни взять наш старый Никола. Вот этой щемящей схожестью и берет меня рисунок. Но он должен затрагивать и других людей, не пробуждая в них при этом столь точных ассоциаций детства. Все дело в его типичности, в его чисто московском духе. Такого не увидишь ни в Ленинграде, ни в Киеве, ни в каком ином городе, это сама Москва, неповторимая московская суть, в нагромождении каменных масс, в кривизне линий, в сплаве прошлого и настоящего, в прорыве из сумерек в свет. Рука художника лежала на самом сердце Москвы, когда он создавал свой пейзаж.

Я пишу это, уже зная о своей ошибке, — память и угадка изменили мне, я не узнал проезд Художественного театра и крышу МХАТа. Конечно, более пронизательным людям прежде всего будет мил и трогателен неожиданный и непарадный вид старой мхатовской кровли. Но для тех, кто, подобно мне, не разберется в географии рисунка (почему-то кажется, что художник сознательно зашифровал адрес, предельно отстранив всем знакомый московский пейзаж), мое рассуждение остается в силе.

Густым московским духом веет и от других работ Куманькова: «Кривоарбатский переулок», «Угол Большой Молчановки». Если в первом купеческий дом с мезонином, перед которым стоит зачехленный автомобиль, еще сопро-

тивляется времени, еще думает устоять, то дни второго сочтены, он и сам понял это и как-то схилился, а деревья растрепали над ним голые ветви, словно траурные ленты. Оба рисунка сильны духом Москвы, но в «Кривоарбатском» чувствуется желание удержать, сохранить, а в «Молчановке» — лишь желание отдать дань человеческому жилью, служившему долго и преданно, но изжившему свой век и вынужденному уйти. Хорошо, что Куманьков не льет жидких слез сожаления над каждым дряхлым зданием, чьи дни сочтены, в этом его мужество и честность, но и хорошо, что каждого ветерана он провожает добрым взглядом.

Грустную нежность вызывают эти дома, ведь они — частица московской жизни, чье-то детство и чья-то старость, их стены слышали смех и плач, слова любви и слова разлуки, отсюда уходили на войну, сюда же возвращались те, кому суждено было вернуться. И похоронки сюда приносили, и поздравления с праздниками, наградами, и судебные повестки. И вообще жизнь в маленьких, потемневших от лет, незнатных домах была полна и в радости, и в печали, мир их праху...

Вначале я думал, что Куманькова влечет главным образом уходящая Москва, и это казалось мне справедливым — кто-то должен сохранить в памяти людей черты, стираемые неумолимым временем, но потом я убедился, что это не так — интерес художника к Москве куда шире, а любовь умнее. У него острый, даже какой-то мучительный интерес к тому, какой станет Москва, он стремится заглянуть в ее завтрашний день. Потому так много строев в его рисунках, потому строительный кран — один из главных героев московского цикла. Картон может называться «Юго-Запад», но царит здесь громадный кран, переименовывающий весь зримый мир своими ажурными конструкциями; может называться «Склады», являя неожиданную поэтичность плоских складских крыш, а эту несколько статичную красоту оживляет и будоражит гигантский кран, влекущий по воздуху балку; может называться даже «Па-

мятник Пушкину» — Александр Сергеевич мужественно напрягается против грозно нависших стрел кранов. Новое здание «Известий» еще строилось, но Куманькову не терпелось увидеть, как соотносится оно с памятником поэту, старинными фонарями. От рисунка веет пытливым тревогой, усугубляемой стаями мечущихся над кранами птиц. Целый лес кранов на картоне «Новые ритмы», настоящий лес с огромной луной за металлическими стволами, призрачно отбелившей стену новостройки.

Куманьков охотно возвращается к любимившимся местам, создавая сходные, но неповторяющиеся сюжеты. Пастель «В мае» — знакомый нам рыжий мальчик, уже подросток, сидит на лавке, под деревом в первой весенней вырубке, и смотрит туда же, куда смотрел лет шесть или семь назад, — за железнодорожное полотно, за Сетунь, на кварталы подступивших к реке домов и далекое здание университета. Рядом с ним и чуть сзади, трогательно повторяя его позу, сидит большая черная собака. Вырос мальчик, изменился и окрестный мир: Сетунь обрела набережные, из сельской заделалась городской, пустырь по эту сторону стал то ли парком, то ли сквером: деревья, скамейка. И хотя есть что-то потерянное, грустное в фигурах мальчика и собаки, но эта грусть — от слишком большой любви художника к мальчику, ведь любовь может лишь притворяться веселой, как и музыка, отстой грусти и там и там неизбежен. Но весь рисунок радостен, бодр, ибо на нем изображен мир, обретающий должную форму: исполнил свое назначение новый городской район — достиг реки и подчинил ее себе, исполнила свое назначение природа, вырастив эти деревья и этого мальчика, что так сосредоточенно смотрит на город, где ему жить, жить и жить...

Куманькову для выражения его раздумий и настроений хорошо служат московские и подмосковные деревья, набережные, фонари, решетки парков и бульваров, афиши и плакаты, дымы паровозов и заводских труб, строительные конструкции и краны, пешеходы, автомобили и птичий стаи.

Погрузившись в его мир, столь близкий некогда и мне, я мучительно затосковал по Москве, по ее прямым улицам и кривым переулкам, по ее площадям, набережным, мостам, по Кремлю и Красной площади, по Замоскворечью и Арбату, по бульварам и всему пространству моего детства, по церквям, башням, монастырям, деревянным домикам и респектабельным доходным домам, по стеклянным коробкам Ле Корбюзье и доморощенным новациям двадцатых годов, по современным башням, по ночной гулкости тротуаров, по розовым сумеркам рассветов и синему предвечернему сумраку, по своей детской душе, все еще бродящей чистопрудным лабиринтом.

И я отправился в свое прошлое. Куманьков вызвался сопутствовать мне. Его огорчало, что он знает район Чистых прудов куда хуже, нежели Замоскворечье, Дорогомилово, арбатские переулки, Бульварное кольцо от Кропоткинской до Сретенки, не говоря уже о центре. И хотелось ему взглянуть на дом, выходящий сразу на три переулка, о котором я столько нагородил и устно и письменно.

Гёте говорил: вдвоем призрак не увидишь. Но я был убежден в безграничной власти былого над своей душой и не боялся помехи. Приди я вдвоем с тихим, сосредоточенным в себе художником или с шумной компанией приятелей — милые, незримые другими тени зареют перед моими покрасневшими глазами, и коснутся слуха беззвучные для чужих ушей голоса, зазвенят нежные колокольчики, всхрипнет гривастый битюг, заворкуют голуби на крыше дровяного сарая. Я только предупредил Куманькова, что небольшой пожар, случившийся месяца два назад, слегка опалил верхние этажи дома со стороны Сверчкова, пусть уж не посетует на малый беспорядок.

Приехали мы в Армянский переулок — все-таки, по старой неистребимой памяти, здесь виделось мне лицо дома, несмотря на все перемены, о которых рассказывалось выше. И тут постиг меня первый удар. А ведь я слышал, что дом перешел в ведение Министерства лесного хозяй-

ства, но не связывал с этим каких-либо перемен в его облике. Я жестоко заблуждался. От дома остались лишь мощные, будто крепостные, в серой «шубе» стены. Весь выпотрошенный изнутри, он слепо и нищенски пялился пустыми оконницами. Есть вещи, которых я никогда не пойму. Выселенных обитателей этого великолепно, тепло, с прекрасной изоляцией, надежного во всех узлах жилого дома обеспечили новыми квартирами, по площади не уступающими прежним. Так почему бы не оставить их на старом месте, а лесникам дать другое помещение? Никто не убедит меня в разумности подобных мероприятий. Зачем выгонять людей из насиженных гнезд, обжитых еще их дедами, чтобы теплое, семейное затопил учрежденческий холод? Даже если в этом есть какая-то материальная выгода — Моссовету, не государству, — то без сомнения, моральных потерь куда больше. Да и негоже великому городу заниматься мелочной бухгалтерией.

Мы побрели в Сверчков переулок, где, ахнув перед бывшей прачечной на углу Девяткина, Куманьков и глазом не повел на следы пожара, и плечом к плечу ступили в подворотню, глядевшую на мое каменное присадистое крыльцо. Я шел, а голоса молчали, и стылый пустой воздух не зыбился промельками милых теней; тупая тишина давила на барабанные перепонки, но, может быть, дело во мне, это я перестал слышать отзвень минувшего, мои глаза зрячи лишь к грубым вещественным очевидностям? Мы вышли из полутемной подворотни в ликующий свет, неправдоподобно и страшно заливший круглый сумрачный дворик. Но не было дворика, был край пустыря, распахнувшегося перед нами ошеломляющей жесткой голубизной морозного неба. Та часть дома, где стояло наше крыльцо, где на третьем этаже находилась наша квартира, была повержена, сметена, ее просто не существовало. И, глядя в чудовищный проем, я вдруг усомнился, что на этом месте действительно творилась моя лучшая жизнь и жизнь моих друзей, что была громадная квартира деда, которую у нас с убыванием семьи — в смерть и в отъезд — по ком-

нате отбирали, что там поселились два великих клана: тихий, работающий — Поляковых, буйный, гулевой — Рубцовых, что вслед за ними въехала цветочница Катя — голуба-душа, что напротив обитал Борька-Портос, а на этаж ниже мой первый друг, мой друг бесценный Павлик и на одной площадке с ним красавицы сестры Козловы. Мне, как, наверное, всем жившим в доме, незабываемым казался строй и лад этого густого существования, над которым и смерть не властна, ибо на смену уходящим подрастали новые граждане. Но все это было враз уничтожено ретивым ведомством, которому, естественно, и дела нет до всяких там переживаний. А я стоял, смотрел в синюю пустоту, в которой навсегда сгнули детство и отрочество, и так же пусто было у меня на душе.

Зимой я ловил рыбу на Учинском водохранилище, и, как оказалось, над тем самым местом, где прошумели мои дачные годы. Подо льдом, в темной воде, знать, еще доживала величественная акуловская дача. На протяжении последних месяцев я лишился матери и отца, сейчас не стало места моего начала. Боже, как богат был я еще недавно и как нищ стал сейчас! Я — словно несчастный герой Шамиссо, лишившийся тени. Еще недавно мое бытие долгой вечерней тенью простиралось в прошлое, сейчас мне не на что отбросить тень. Так обирает людей война, но то массовое бедствие. Когда же тебя обрубает посреди мирной тишины, это воспринимается иначе...

Да, тяжело началось мое возвращение в родной город. И — незадачливый паломник — я присел обочь дороги, дабы перевести дух и собраться с силами. Они мне весьма понадобились.

Я шел путем детства: от Телеграфного переулка по Чистым прудам, улице Чернышевского, на улицу Карла Маркса, к Разгуляю. Ах, Разгуляй! Как чудесно, лихо, истинно по-русски звучит это слово. Видать, крепко гуляли здесь, под стенами Москвы, за Земляным городом, гуляли от всей души, от всего сердца, как в городе не погуляешь. Недаром же богатырская гульба перешла в название места,

которое помнится всем московским старожилам. Ныне Разгуляя не существует, ни улицы, ни площади. Разгуляй разлился по всей столице, и государственным, и тем беспошлинным вином, против которого в свое время воздвигли Камер-Коллежский вал. Вала сейчас тоже нет. От Разгуляя я свернул к Гороховской, почему-то переименованной в улицу Казакова, именно здесь не построившего ни одного здания,— и взял путь к Лефортову.

Лефортово по эту сторону Яузы наводит на мысль о землетрясении. Тут все разворочено, разбито, какие-то овраги, пади, будто ты и не в Москве даже. И дело не в том, что Лефортово стало сплошной строительной площадкой, подобно, скажем, Теплому Стану. Строить тут, конечно, строят, как и повсюду в столице, но не деловой сумбур стройки определяет лицо правобережного Лефортова, а запущенность.

Оказывается, и детская память, кажущаяся такой стойкой и прозрачной,— ведь мы неизмеримо лучше помним даже незначительные события младых лет, чем куда более важные — зрелой поры, а тем паче поры увядания,— далека от совершенства, в ней тоже образуются провалы, замутнения. Я начисто забыл, что рядом с бывшим Слободским дворцом (старое здание МВТУ имени Баумана) находится другой дворец, исторически еще более интересный. Этот дворец построил по царскому повелению каменных дел мастер Аксамитов для «первого галанта и французского дебошана», хотя он был швейцарец, Франца Лефорта, открывшего Петру I очи на запад и помогшего окончательному отвращению юного царя от боярской старины. После смерти Лефорта дворец перешел к князю Меншикову, приказавшему архитектору Фонтансу пристроить с улицы каменные корпуса с торжественным въездом.

Впрочем, слово «сохранившийся» не очень подходит к обветшалому, облупившемуся, дышащему на ладан зданию, по виду заброшенному, хотя в нем помещается военно-исторический архив. Парадный двор, куда я проник через проходную, приютившуюся у «торжественного въез-



да» и случайно оказавшуюся пустой, являет собой картину былой красоты на мерзости запустения. Но второй двор, глядящий на Язузу, просто мусорная свалка. Именно с этой стороны можно попасть в подъезд, где якобы сохранилась лестница Матвея Казакова. Но я туда не попал: меня окружили какие-то бдительные люди и стали помогать, как да зачем оказался я здесь. Я объяснил, показал документы, сообщил о невинной цели своего вторжения, но не смягчил суровых стражей. Чего они боялись? Что я похищу стратегический план Скобелева или победную реляцию времен турецких войн? Братцы, взмолился я, бросьте вы эту чепуху, скажите лучше, как вы позволяете разрушаться эдакой красотище? А что мы можем сделать? — угрюмо отвечали братцы. Говорят, денег нет. Только на текущий ремонт хватает, а это — что слону дробина. Здесь подмазали, там отвалилось. Коли так дальше пойдет, останутся одни руины... Человеческая интонация была найдена, но это не помешало моим собеседникам дать жестокий нагоняй вахтерше, по недосмотру которой я проник во двор.

Невеселые эти впечатления меркнут перед тем, что выпало мне на долю в Кирочном переулке. Я ринулся туда с сильно бьющимся сердцем, поверив путеводителю, что под номером шесть сохранился дом Анны Монс, возлюбленной Петра, к тому же еще построенный в «типичном для конца XVIII века стиле московского барокко». Шутка сказать: я увижу дом, куда, охваченный любовью и нетерпением, в дождь, в метель, в пургу мчался из Преображенского юный Петр. Эта любовь, очаровательная Анна Монс, ее окружение, незаурядные обитатели слободы, потянувшиеся на царскую приманку, бесконечно много значили для формирования взглядов, характера, всей необыкновенной личности будущего преобразователя России. Отсюда, можно сказать, пошла новая русская государственность. И если в этом утверждении есть некоторое преувеличение, то лишь дозволенно-метафорическое.

Долго и тщетно разыскивал я дом № 6 в недлинном,

узком, склизко-грязном переулке. И снова подумал, как влекла царя нежная, пухленькая девушка, если он каждый вечер, рискуя свернуть себе шею, потонуть в невылазной грязи, пробирался к ее дому. Да неужели не мог он переселить ее в порядке улучшения жилищных условий? Впрочем, в ту далекую пору иноземная слобода, называвшаяся Немецкой, хотя тут жили дети разных народов, поражала путешественников благоустроенностью, нарядностью и чистотой.

Дом как сквозь землю провалился: вот тут ему стоять, если он действительно носит шестой номер. А его нет. Неужто врут не только календари, но и московские путеводители?

В глубине двора я заметил дворничиху в ватнике, резиновых сапогах и соломенной шляпке горшочком, обмотанной поверх шерстяным платком. Она прислонилась спиной к обшарпанной и словно закопченной стене какой-то развалюхи и курила, часто и жадно поднося сигарету к ярко окрашенным губам. Свободной рукой она сжимала лом для скалывания льда.

— Простите, вы не знаете, где тут дом Анны Монс?

— Я не здешняя.

Типично московский ответ, в данном случае совершенно бессмысленный. Пусть ты не здешняя уроженка, но коль здесь живешь и работаешь, то должна же знать свой переулок, свой двор. Но быть может, она вкладывала в ответ иной смысл — нездешняя... Что, если это сама Анна Монс (несколько подпорченная временем), явившаяся прибрать гнездышко своей бессмертной любви, но желающая сохранить инкогнито?

— Да вы, наверное, слышали: Анна Монс, дочь пастора Монса... Петр так любил ее!.. — лепетал я.

— У нас, гражданин, таких нету, — сурово до враждебности отрезала дворничиха, с силой выдыхая из ноздрей дым.

Похоже, она видела что-то оскорбительное для своей женской чести в моей назойливости.

Я это понял и отступил. Уже выйдя в переулок, оглянулся и увидел угол маленького полуразвалившегося дома — в небольших полуколоннах, украшавших этот изящно скругленный угол, в наличниках двух прекрасной формы окон из-под слоев грязи, будто из затемнения, проступила прелесть московского барокко. Я не сразу сообразил, что это другая часть того самого дома, о который облокотилась не ведавшая об Анне Монс дворничиха. Я ни в чем не обвиняю старую женщину, так мужественно противостоящую времени-разрушителю, куда мужественней этого бедного дома, тем более что с подведомственной ей стороны дом утратил и последние признаки стиля, который еще называют «нарышкинским барокко» — по родне царя Петра. Но ведь отремонтировать такой домишко по силам кучке студентов-энтузиастов. Я видел таких ребят в Поленове, они умело и споро восстанавливали довольно большую и крепко разрушенную церковь.

Мы во многом виноваты перед своим городом. Мы молчали, когда сносили Сухаревскую башню, Красные ворота, храм Христа Спасителя и многое, многое другое. Хорошо помню, как снесли в угоду городскому транспорту дивную церковь Успения божьей матери на углу Покровки и Потаповского. «Злодей» Наполеон выделил солдат для ее охраны; Достоевский, проезжая мимо нее на извозчике, всякий раз выходил и благоговейно озирали дивное «дело рук человечихи Петрушки Потапова». Галерея церкви вдавалась в узкую мостовую Покровки и действительно мешала извозчикам. Повергли нарышкинское барокко, московский Нотр-Дам, и на освободившемся месте открыли летнее кафе с зонтами. Лишь перед войной кафе несколько отодвинули в глубь пустырька. А ведь можно было отодвинуть храм или ограничиться сносом галереи. Возможны были любые решения, но выбрали простейшее и наихудшее. Впрочем, тут, видимо, преследовались и антирелигиозные цели. Столь же аргументированно снесли в свое время Триумфальные ворота, а через десятилетия столь же аргументированно восстановили, пусть и на дру-

гом месте. В первом случае все дружно молчали, во втором столь же дружно ликовали.

А вот ленинградцы не молчали, когда в преобразовательном азарте махнули Перинную линию вместе с дивным портиком. Они подняли такой шум, начисто пренебрегая вескими и ничего не стоящими аргументами, что портик талантливого зодчего Алоизия Руски тут же восстановили. Вот еще пример настоящей, действенной любви к своему городу.

Мы, москвичи, такой любовью похвастаться не можем. Мы от души радовались, что на развилке проспекта Калинина и улицы Воровского оставили белую церковку с зелеными главками, так трогательно вписавшуюся в новейший пейзаж. Но мы спокойно смотрим, как разрушаются стены и трапезная Симонова монастыря. А ведь этот монастырь — прежде всего оборонительное сооружение, крепость, и мы знаем, чего он стоит как произведение русского гения. Его стены и башни построены Федором Конем. Да и кто связывает сейчас культовые постройки с религией? К ним относятся точно так же, как к дворцам, башням, палатам, воротам и другим сооружениям, доставшимся нам от прошлого, ценят в них красоту искусства, исторический смысл. Так почему бы не восстановить уцелевшую часть Симонова монастыря? Сейчас его дряхлое тело добивают бесконечным содроганием механизмы фабрики «Все для рыбакова-спортсмена», в проломы стен по трубам сыпают бамбук для удочек.

И зачем цементный заводик покрывает слоями едкой пыли уцелевшие строения Ново-Спасского монастыря, где ведутся вялые восстановительные работы? Ново-Спасский монастырь — боевой соратник Симонова — уже сейчас привлекает толпы любопытных. Стены и башни его, частью сохранившиеся, частью наращенные заново, приближаются по своим формам к бастионам XV столетия; великолепен главный собор, внутри него сквозь копоть веков проглядывают фрески. На заброшенном и сгинувшем монастырском кладбище, возле колокольни, уцелело над-

гробье монахини Досифеи — дочери Елизаветы Петровны и графа А. Г. Разумовского. За эту жертву морганатического брака выдавала себя знаменитая авантюристка княжна Тараканова, хорошо всем нам известная по картине Флавицкого в Третьяковской галерее. Есть и величественная трапезная, и строгая Знаменская церковь, построенная учеником прославленного Баженова Е. Назаровым, — усыпальница рода Шереметевых. Там находится надгробье дочери создателя Останкина Н. П. Шереметева и крепостной актрисы Параши Ковалевой-Жемчуговой, которую влюбленный в нее граф в нарушение всех сословных уставов сделал своей женой и чью безвременную кончину оплакивал до конца дней. Эта необыкновенная любовь породила множество стихов, песен, легенд. Вот сколько чудесного скрывается за старыми стенами!

И отраднo, что забота и бережнoсть уже коснулись замшелой обители: реставрируются стены и башни, из усыпальницы Шереметевых выдворили хорошо прижившийся там отрезвитель, а из часовенки-надгробья инокини Досифеи убран дворницкий инвентарь.

К сожалению, куда меньше повезло гробнице героев Куликовской битвы братьев-инокoв Ослябы и Пересвета, находящейся в церкви Рождества в Старом Симонове, бесценном памятнике русского зодчества начала XVI века. Со смертной сшибки витязя-чернеца Пересвета с татарским богатуром Челубеем и началась великая битва, где русская рать впервые распластала степняков. Ныне в обезглавленной церкви над священными костями героев дребезжат механизмы какой-то мастерской.

Что же, я за сохранение любого московского старья, любой ветоши только потому, что она освящена временем? Нет, ни в малейшей мере. Москва никогда бы не стала современным мировым городом, если б по-плюшкински тряслась над каждым окаменелым сухарем прошлого. Коренная реконструкция была необходима. Причина этого — в самой истории Москвы.

Москва строилась без плана и расчета, как бог на душу

положит. История ее возникновения теряется во мгле благочестивых легенд или темных, но имеющих под собой историческую основу преданий. Первое достоверное сведение о Москве относится к 1147 году, когда, приглашая своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича, Юрий Долгорукий обещал ему «обед силен», что так восхищало Бунина. С этой даты и повелся счет летам Москвы, а великий князь Киевский Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким (вон куда рука его протянулась!), обнесший малое сельцо в устье Неглинной деревянной городьбой и рвом, удостоился в потомстве звания основателя Москвы и конного памятника

Через сто лет деревянная, крошечная Москва стала стольным княжеским городом, а в 1327-м Иван Калита, загребушие руки, сел здесь на великое княжение, с него Москва начала широко и крепко строиться. Но лишь при Дмитрии Донском, разбившем рать Мамайя и положившем начало освобождения Руси от татарского ига, обстроилась Москва каменным Кремлем. Вспоминаются замечательные слова В. Ключевского: Москва зародилась не в скопидомском сундуке Ивана Калиты, а на поле Куликовом. Он разумел Москву не просто город, а Москву — идею, Москву — Русь.

За каменным Кремлем город долго оставался деревянным, вплоть до Ивана III, если, конечно, исключить несколько грубых каменных церквей. Иван III призвал знаменитых итальянских мастеров: Аристотель Фиоравенти построил Успенский собор, Марк из Венеции — Грановитую палату. Одновременно с этим шло обновление и украшение кремлевских стен. Знаменитый историк Москвы И. Забелин пишет: «Старые стены, значительно обветшавшие от времен и от многих пожаров, теперь уже не удовлетворяли новым требованиям и могуществу государственного гнезда, каким являлся этот ветхий Кремль. А величественный собор Успенский как бы указывал на необходимость окружить его достойным венком новых сооружений». И начинает создаваться тот Кремль, который

гордо стоит и ныне посреди Москвы и служит символом нашей страны, ее несокрушимой мощи.

По правилам тогдашнего фортификационного искусства все строения, включая церкви, расположенные ближе ста пятидесяти сажен от стен, были снесены. Согласно тем же правилам было расчищено и Замоскворечье, уже сильно застроившееся. Москвичи дружно возмущались, что подняли руку на святую старину, считая эти новшества чуждыми исконному облику Москвы. Возьмем на заметку: в исходе XV века перестройка Кремля уже вызывала осуждение.

Москва строилась, правильнее сказать — росла, ибо тут отсутствовал какой-либо сознательный расчет, концентрическими кругами. Как и всегда, возле крепости возник торговый посад, получивший прозвание Китай-город — от киты, веревки из травы, соломы или хвороста, столь потребной в торговле. Этот город с торговым центром — Красной площадью, с деревянными, реже каменными лавками, лабазами и амбарами, купеческими дворами, домами и домишками посадского и тяглового люда, соборами и церквями потребовал защиты и был обнесен Китайгородской стеной. Переулки Китай-города создавались стихийно, в запутаннейшем лабиринте их терялись даже старожилы.

Издавна на север и восток от Кремля протянулись дороги, в XVI веке на них стали слободы ремесленников: Плотничья, Поварская, Печатная, необходимые для жизни сильно выросшего города, и при кротком Федоре Иоанновиче тезка его Конь объял новый круг Москвы Белым городом, просуществовавшим до дней «богоподобные царевны Киргиз-кайсацкие орды». При Фелице — другое льстивое наименование Екатерины II в одической поэзии Державина — обветшавший город снесли и по линии его разбили бульвары. Внутри Белого города порядка — о плане и говорить не приходится — было еще меньше, нежели в Китай-городе; слободы чередовались с пустырями, болотами, каждый строился по своему достатку и «ндраву»,

мог перегородить намечавшуюся улицу домом или усадьбой, превратив ее в тупик, мог застроить уже обозначившуюся площадь.

Следующие пояса — Земляной и Камер-Коллежский (второй, как уже говорилось, обязан своим происхождением не нуждам обороны, а исконному веселию Руси) — ничуть не изменили хаотического облика города. Порой предпринимались попытки упорядочить строительство в Москве, но и самые строгие царские указы, даже скорого на расправу Петра I, изнемогали в московской расхлябанности. Более действенными оказывались пожары. Москва горела то и дело: от неприятеля, от бунтов, от копеечной свечки, от дурных печей, по пьяному делу — и на погорелье отстраивалась в большем порядке.

Поворотным пунктом в московском градостроительстве надо считать XVIII век. После упадка и запустения, вызванного возведением на чухонских болотах Северной Пальмиры и насильственным переселением в молодую столицу дворян, ремесленников и работных людей, Москва начала подниматься с восшествием на престол дочери Петровой развеселой Елизаветы. На радостях, что кончилась бироновщина и гнет иноземного засилия, московское купечество воздвигло Красные ворота в конце Мясницкой, в Земляном валу. Поборы стали меньше, облегчилась дворянская служба, исчез страх перед самодурством временщиков, и в Москву потянулось знатное дворянство: Шереметевы, Юсуповы, Долгорукие, Голицыны, Трубецкие, Волконские. За ними двинулось среднее и мелкое дворянство. Застройка Москвы пошла с невиданным размахом. Меняется лицо и Белого и Земляного города. С усадьбами знати и красивыми особняками дворян помельче соперничают добротные, стильные дома купцов. Москва стала куда пригожее, наряднее.

В XVII веке путешественников поражал контраст между тем впечатлением, какое производила Москва издали: сияющие сорок сороков, купы зеленых садов, и тем, что ошеломляло вблизи: теснота, убожество, грязь и вонь кри-



вых улочек, где в беспорядочном нагромождении жалких деревянных лачуг вдруг распахнутся хоромы какого-нибудь боярина или взлетит к небу бело-розовая колокольня. Любопытно, что в ту пору храм Василия Блаженного был так застроен лавками, лавчонками, торговыми рядами, что даже москвичи не знали, какое диво дивное таится на их главной площади.

В XVIII веке Москва стала хороша не только издали. Выросло множество превосходных зданий и светской, и церковной архитектуры. Здесь показывают свое искусство и московская школа: Баженов, Ухтомский, оба Казаковы, Еготов, и петербуржцы — сперва палладианец Кваренги, позже Стасов. Пышное барокко уступает место строгому классицизму. Но в ансамбле Москвы оба стиля мирно соседствуют. И все же улицы по-прежнему узки и нестройны, большей частью немощены, изломанные переулки темны и опасны. От той поры до наших дней дожили разные Кривоарбатские и Кривоколенные, но сейчас их излучины вызывают даже умиление, как безобидные причуды минувшего.

Сокрушительный пожар 1812 года не только ускорил уход неприятеля из первопрестольной, но и способствовал ее обновлению. Городскую усадьбу, расположенную в глубине двора, сменили ампирные особняки, выходящие фасадом на улицы и тем помогшие выпрямлению их. Многие кривые переулки, спаленные до основания, больше не восстанавливались, что тоже способствовало распутыванию московского клубка, напоминавшего лабиринт критского царя Миноса.

В середине прошлого века был построен Большой Кремлевский дворец, о котором историк Никольский через полвека писал с неутихшей горечью: «...должно отметить постройку Большого Кремлевского дворца, огромнейшего здания полуказарменного типа, при сооружении которого были безжалостно уничтожены и старинная церковь Иоанна Предтечи, и царские хоромы XVII века, и дворец Елизаветы, построенный Растрелли; остатки старинных тере-

мов и палат были при этом загорожены и спрятаны за новой громадой». Запомним это...

Вторая половина XIX века и начало XX внесли свои черты в облик Москвы, характерные для тех социальных и общественных сдвигов, что происходили в русском обществе. Не будем вдаваться в подробности, скажем лишь, что стык веков оказался плачевным для московского зодчества, в котором возобладали псевдорусская манера и модерн, выродившийся вскоре в декадентство.

Куда лучше был скучный и сугубо деловой стиль, возникший как здоровая реакция на претенциозную эклектику и давший Москве много хороших жилых домов и административных зданий. Но меня сейчас интересует не столько архитектура, сколько город в целом, в совокупности его жизненных артерий — улиц, переулков, бульваров, проездов. И в этом смысле Москва осталась вполне азиатской.

Известный славянофил Константин Аксаков таскал всех приезжавших в Москву на Воробьевы горы и со слезами восторга и умиления показывал расстилающийся внизу город, тонущий в зелени, с сотнями горящих золотом куполов и крестов. А когда приезжий, особенно чужеземец, а также петербуржец или киевлянин спускался вниз, Москва очаровывала его несхожестью ни с каким другим крупным европейским городом: каменная, но больше деревянная, с дивными площадями и вонючими переулками, с благолепными храмами и вросшими в землю церквушками, с европейским центром и трущобами Зарядья, Хитрова рынка, Трубы, с Английским клубом и косным бытом рогожских старообрядцев, с роскошью и нищетой, бархатом и лохмотьями. Залетный гость, замирая от восторга, бродил по кривым улочкам, карабкался навздым где-нибудь в пределах Трубной или Рождественского бульвара, валился с откосов Лефортова, вдыхал душно-сладкий, ладанный дух бесчисленных церквей и тленный ток из подвалов дряхлых домов, не без тайного высокомерия дивился странному городу, мнящему себя европейцем и успешно

подражающему западному лоску в районе Петровки или Кузнецкого, а в целом варвару, дикарю. Для стороннего наблюдателя любопытны и радостны были даже недостатки, пороки Москвы, но не для коренных жителей города. Вот такой досталась Москва победившей революции, безмерно живописная, диковинная и ни в коей мере не соответствующая званию столицы первого в мире социалистического государства.

Законсервироваться в своем старом облике может небольшой город музейного склада, вроде Эйзенаха, Веймара, Дубровника, Брюгге. Венеция — особая статья, географическое положение определяет ее верность раз созданному облику. Но здесь речь идет о великом городе, столице самого большого государства в мире. Ясно, что Москва нуждалась не в частичной перестройке, а в капитальной реконструкции. Горячее и нетерпеливое стремление создать новый облик Москвы, стереть следы ненавистного прошлого опережало материальную, техническую и моральную подготовленность преобразователей к выполнению этой большой и трудной задачи. Потому и наломали столько дров в двадцатые и тридцатые годы, об этом уже много говорилось, и не стоит выходить на собственный след. Но я ничего не сказал о тех, порой наивных, порой дерзких, смелых попытках создать новый строительный стиль, что делалось уже тогда, в заревающую пору.

Конструктивизм оставил нам несколько построек, удивляющих своей нелепостью: клуб завода «Каучук», клуб им. Русакова на Стромынке, их построил архитектор Мельников, принадлежавший к тем пророкам, которых сограждане побивают камнями. Эти здания не понравились сразу — без привычки был бетон как основной строительный материал, да и отвращала жесткость линий, не соответствующая мягким контурам московских строений. Мельникову все же знали цену, именно ему поручили построить советский павильон на Парижской выставке. А потом его взяли в оборот. Он обиделся, замкнулся, возвел себе дом в виде короткой толстой трубы в Кривоарбатском, начер-

тал на нем «Дом архитектора Мельникова» (и дом и надпись сохранились) и, прожив очень долгую жизнь, ушел, ничего более не создав.

Неизмеримо лучшее впечатление оставляют тоже не больно порадовавшие москвичей в пору своего возникновения стеклянные дома Ле Корбюзье и его последователей. Я был мальчишкой тогда, но хорошо помню обывательское брюзжание по поводу их прозрачной нелепости и что зимой, мол, там холодно, а летом нестерпимо жарко. Над этими домами долго потешались и не заметили, что все новые здания, все эти стеклянные кубы, параллелепипеды, башни создаются по канонам Корбюзье.

Несмотря на все потери и промахи, общее направление было правильным, необходимым, подсказанным временем, ростом значения Москвы в мире. Наша столица не могла оставаться экзотическим курьезом, ублажающим «гордый взор иноплеменный». И расширялись, выпрямлялись улицы, прокладывались новые магистрали, распахивались площади, логика прививалась хаосу лабиринтовой путаницы, строилось великолепное московское метро.

Один из старых историков жаловался: Москва единственный первостатейный европейский город без главной улицы, ибо нельзя считать таковой ни кривую, узкую, некрасивую Тверскую, ни короткий и горбатый Кузнецкий мост. Сейчас, когда перед глазами возникает улица Горького, такое заявление звучит диковато. Но старая Тверская — разве могла она идти в сравнение с Невским проспектом или Крещатиком? Мы все равно любили ее, узкую, задавленную домами, в пронзительной трамвайной звени, запруженную толпами пешеходов в часы пик и в праздники. Перестроили же эту улицу по тем технически скудным временам на редкость быстро и умело. Действовали методом сохранения, а не разрушения: все крепкие, казистые, хотя и заурядные дома по правой от Охотного ряда стороне отодвинули, а перед ними поставили внушительные, выдержанные в одном стиле мордвиновские дома. Архитектор Чечулин надстроил и несколько видоизме-

нил фасад Моссовета, что тоже вполне законно, — бывший дом губернатора оказался бы карликом на выросшей улице. Помню, тогда сокрушались: надо же, поднять руку на творение Матвея Казакова! А между тем история московского зодчества полна сходными примерами: Казаков перестраивал Баженова, Жилярди — Казакова, в Лефортове Кваренги украсил колоннадой лоджию Екатерининского дворца, построенного Бланком по проекту Ринальди, и тем не просто видоизменил, но, по существу, создал новый облик дворца, а крепостной архитектор Аргунов смело правил самого Кваренги при строительстве Останкинской усадьбы.

Москва получила свою главную улицу: широкую, светлую, мощную, в современный строй которой хорошо вписался старый Английский клуб (Музей Революции). Как жаль, что высоченная башня новой интуристовской гостиницы сломала ее гармоничный силуэт. А еще жаль, что Пушкина переставили: раньше он имел за плечами перспективу лучшего московского бульвара, то зеленого, то огнисто-золотого, то снежно-белого, а сейчас кинотеатр с аляповатыми афишами.

Но можно ли было всю новую или обновляемую Москву построить на уровне улицы Горького? Думаю, что нет. У страны были другие насущные задачи: развивать Сибирь и Дальний Восток, осваивать Байкало-Амурскую магистраль, обживать космос, помогать отсталым странам, перечислять можно без конца, и все это заставляет поступать эстетическими канонами при строительстве жилых массивов. Тем более что строить надо быстро и очень много. Подвалы столичных домов давно опустели, но еще немало жителей ютится в коммунальных квартирах, лишенных современных удобств. У них одно стремление — скорее перебраться в отдельную квартиру нового комфортабельного дома. Такому гражданину не до высокой эстетики. И с его требованиями необходимо считаться.

Это явление отнюдь не московского, а мирового порядка. Вокруг столиц, да и вообще старых больших городов,

вырастают кварталы, точнее, пояса новых громадных жилых домов стандартного типа. Как ни напрягайся, а стандарта тут не избежать, ибо только типовое строительство делает возможным массовое расселение. Конечно, шведам проще, во всей стране жителей вдвое меньше, нежели в одной Москве. Они не воевали с наполеоновских времен, только копили богатства, наживаясь на чужих войнах. Стокгольм разгружается за счет чудесных городов-спутников, каждый из которых являет единый ансамбль. У нас такие города тоже есть, и, скажем, Зеленоград, умело вписанный в подмосковный лес, выдержит любое сравнение. Но города-спутники — особая тема, а мы говорим сейчас о кольцах новостроек вокруг старого ядра города.

К моему сельскому жилью ведет из центра несколько дорог, и если я еду машиной и не сижу за рулем, то стоит мне задремать, задуматься, просто закрыть глаза, то на выезде из Москвы уже не понять, какой путь избрал водитель и что вокруг — Черемушки или Юго-Запад, Ленинский или Комсомольский проспекты. Улицы новых районов лишены лица, а здания, их образующие, — отличительных черт.

И вот о чем мне думается. Переехал коренной москвич из опостылевшей до скрежета зубовного общей квартиры в новый типовой дом где-нибудь в Теплом Стане, или Беляеве-Богородском, или в Бирюлеве, посетовал для порядка на отдаленность нового жилья от центра, потом выяснил, что до метро четверть часа на автобусе или троллейбусе, успокоился и целиком отдался неизведанной прежде радости изолированного и независимого от соседей бытия. А затем у этого счастливирика рождается сын, которого, как положено, сперва отдают в ясли, потом детский садик, наконец посылают в расположенную поблизости школу. И растет парень в своем микрорайоне, где есть и кино, и клуб, и парикмахерская, и пошивочная, и сапожная мастерская, и библиотека, но этому парню нечем гордиться, как гордились мои сверстники «своим» «Колизеем», «своей» гробницей Морозова, «своими» Юсуповскими палатами,

«своей» Меншиковой башней, «своими» Покровскими казармами, — жизненный обстав юного гражданина нового микрорайона лишен какой-либо характеристики, особенности, он такой же, как у всех. Безликое, неотличимое от фона трудно любить. А ведь с любви к своему дому, двору, голубятне начинается любовь к своей земле, та любовь, что в годину испытаний оплачивается кровью и самой жизнью. Но чем будет питаться такая любовь в безликости новостроек? Штамп нельзя любить. Человеческая личность закладывается в детстве, от детских впечатлений, наблюдений, переживаний во многом зависит, каким станет человек. В смазанности окружающего трудно ощутить и собственную индивидуальность. Парень из Армянского переулка был особый парень, и чистопрудный — особый, и покровский — особый, и потаповский — особый. А этот, из микрорайона, каков он? Общий, как все, — стало быть, никакой. Я не знаю, что тут можно сделать, но сделать надо.

Может, следует призвать на помощь растительный мир? Если бы наряду с непременно озеленением: высаживанием в асфальт чахлах тополей и лип — каждый дом сам бы себя декорировал, причем силами добровольцев-жильцов, выбирающих на свой вкус: ель или пихту, лиственницу или сосну, березу или клен. А во дворах могла бы цвести сирень и жимолость, жасмин и рябина. Удивительных эффектов добиваются сейчас в мире с помощью вьющихся растений: дикого винограда, плюща, вьюнка. Ими окутывают стены не только коттеджей, но и самых высоких домов. Проводятся городские конкурсы на лучшее украшение дома вьющимися растениями. Я не раз любовался удивительными многоцветными композициями из дикого винограда и плюща, превращающими самые заурядные дома в чудо. Цветы тоже могут придать скучным обиталищам прелесть и своеобразие. И легко себе представить, как вокруг клумб с тюльпанами, флоксами, гвоздиками, лилиями, пионами, золотыми шарами развивается благородное соперничество, женщины отвлекаются от сплетен, мужчины от «козла», а ребята от хулиганства...

Надо сказать, что самих строителей тревожит одуряющая безликость неотличимых серых коробок, вырастающих, как грибы после солнечного дождя, на окраинах Москвы, и они пытаются внести некоторое разнообразие, декорируя балконы красными, желтыми, зелеными пластиками. Это было бы красиво, если б не удручающее качество красок: ныне же грязно-розовые, бурые и плесневые полосы лишь уродуют здания, не доставляя ни малейшего эстетического наслаждения.

Возможно, мои советы покажутся наивными, хотя я не маниловщиной занимаюсь, а говорю лишь о том, что сам наблюдал в разных землях. Так пусть люди более сведущие серьезно подумают о тех, кому расти и жить в скучном казарменном однообразии столичной периферии.

Как бы ни выглядели новые районы, в них все равно не будет того, чем богата — до сих пор богата — старая Москва: связи с прошлым. Вот почему так важно сохранить исторический образ города. В памятниках архитектуры — деяния предков, героическая быль многострадальной русской столицы и нетленная красота. Пусть молодой человек недалекого будущего, уроженец микрорайона, не увидит вокруг себя старины в благородной патине, он сядет в поезд метро, троллейбус, в собственную машину или вертолет и отправится к Симонову монастырю, и душу ему опашнет той давностью, когда Русь одна стояла против кочевников, и, не будь ее, дикие орды наводнили бы Европу; он забредет в Лефортово и увидит колыбель русской государственности, здесь гениальный сын России Петр почуял впервые веи свежих морских ветров и устремил горящий взор на Запад, он пойдет в район старого Арбата, и его обнимет тишина низенькой посленаполеоновской Москвы (хочется верить, что наглым башням путь туда заказан).

Но все это будет, если мы научимся много бережнее, много заботливей относиться к нашей Москве, все время думать, помнить о ней и не считать заботу о ее облике, благе и будущем делом каких-то специальных учреждений.



Нет, это дело всех нас, и следует пожелать нам ленинградской ответственности, настойчивости, решительности и непримиримости, когда речь идет о родном городе.

Но снова хочется повторить: бережный подход к старине вовсе не означает ее обожествления. Звонкие фразы вроде: прошлое свято и неприкосновенно, — бессодержательны. Неприкосновенный на памяти нескольких поколений Кремлевский город обзавелся новым зданием — Дворцом съездов, созданным в современных архитектурных формах. Сколько было по этому поводу пустых и невежественных разговоров! А вспомните, еще в XV веке старые москвичи возмущались дерзновенным покушением Ивана III на исконную московскую старину. Петр тоже покусился на Кремль, велел построить там арсенал. При Екатерине были снесены монастырские подворья, здания приказов и один из последних боярских домов — Шереметева. Расчищалось место для нового грандиозного Кремлевского дворца по проекту Баженова, гениальному, как считали одни, чудовищному, как считали другие, безмерно дерзкому — по общему мнению. Но, поугав недругов Руси богатством истощенной казны, Екатерина успокоилась, и работы в Кремле замерли. Чуть позже Матвей Казаков построил в Кремль величественное здание сената в формах российского классицизма. При «ревнителе казенного благообразия Валуеве», как язвительно писал историк Москвы, были сломаны все здания государева дворца, Троицкое подворье, цареборисов дворец, Сретенский собор. И видный зодчий Тон построил Большой Кремлевский дворец, так раздражавший современников. Но разве придет кому в голову придирааться сейчас к этому овеянному славой, высоко и мощно вознесшемуся над Москвой-рекой зданию? Вот и наш Дворец съездов лет через сто будет казаться столь же естественным и необходимым, как постройки Казакова и Тона. Кремль — не создание одной воли, раз и навсегда нашедшей ему форму. Каждая эпоха накладывала на него свой отпечаток, в нем достойно представлен каждый век. Тем и ценен этот единственный в сво-

ем роде ансамбль, что он являет собой не окаменелость, а подвижный образ меняющихся эпох: от Успенского собора, утвердившего значение Москвы как первого града на Руси, до Дворца съездов, в чьих прочных ребрах — мощь социализма.

Но удача с этим превосходным и по идее, и по архитектурному воплощению зданием не должна развязывать руки тем бесцеремонным, чуждым ответственности людям, что спокойно могут встроить бетонную башню не только в скромный перепут арбатских переулков, но хоть бы и во двор Пашкова дома...

Волнуясь, радуясь, негодуя, вновь жадно дыша Москвой, я и не заметил, как произошло мое возвращение в родные пенаты. А когда почувствовал это каждой жилочкой, понял и другое: не могла Москва вернуться ко мне по-юному светло и безмятежно, нет, она принесла тревогу и новые обязательства, но в мои годы нельзя иначе относиться к Москве.

Московские рисунки Евгения Куманькова прекрасны сами по себе, их главный смысл вовсе не утилитарен и уходит корнями в ту вечную тайну человеческого сердца, где лишь искусство правит свой праздник, но все же чистой эстетикой дело не исчерпывается. Куманьков — неутомимый собиратель тех московских ценностей, что легко ускользают от поверхностного взгляда. Много незаметной красоты рассеяно по московским улицам, и художник сдергивает с наших глаз повязку равнодушной неприметливости. О, как всем нам нужна сейчас зоркость!..

Ныне новый маленький мальчик с рыжей головой и горящими ушками серьезно и пытливо смотрит в окошко на московский мир. Мы обязаны все время думать о том, каким передадим ему наш город.

## О МОСКВЕ С НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Меня всегда мучила мысль, что у москвичей нет того интимного ощущения своего города, которым отличаются не только коренные ленинградцы, но и — пусть в меньшей степени — новожилы города, как-то удивительно легко усваивающие ленинградскую традицию. Москва необъятна, неохватна и к тому же слишком быстро меняется. Не успеваешь привыкнуть к одному облику города, а он уже стал другим. Сколько прошло лет, а я все ищу Собачью площадку, поглощенную Калининским проспектом. Когда вспоминаешь, сколько московской старины съел этот широкий, вялый, невыразительный проспект, так и не слившийся с арбатской Москвой, то начинаешь сомневаться в его необходимости. В конце концов, транспортные проблемы этой части города можно было решить каким-то другим способом.

Пусть читатель не пугается, что сейчас польется бесконечная слеза на уничтоженные в Москве памятники старины. Нет, я не буду сетовать, что снесли храм Христа Спасителя, и запальчиво-бессильно взывать: верните нам взмет белых стен и золотых куполов. Хотя был он чудо как хорош — не архитектурно даже, но умел эклектик Тон ставить свои постройки. Как смотрится им же построенный Большой Кремлевский дворец на зеленой крутизне холма! Не буду печалиться даже о московском Нотр-Дам на Покровке, перед которым Федор Михайлович Достоевский всегда снимал шляпу. Знаю, что не вернут, не восстановят, да и нету им уже места в Москве. И все же не сразу расстанусь с этой навязшей в зубах темой. Много писалось — я и сам писал — о том, что гибнет барочный домик Анны Монс в Лефортове, восстановить который могла бы студенческая бригада за один месяц на лепту вдовицы. Крошечный домик, но как много он значил в судьбе русской государственности! Окно в Европу Петр прорубил на Балтике, но первый смутный век иных ветров опухнул его здесь. Сейчас все сильнее звучат голоса, что

не надо было рубить это окно, что вреден России европейский воздух; нам благодны сухие ветры Азии. И все-таки дом Анны Монс следовало бы восстановить, ну хотя бы для того, чтоб было на что плюнуть последователям Хомякова и Аксаковых. А так, осевший, полуразвалившийся, он тонет в грязи, к нему не приблизишься даже на длину плевка.

Я не знаю, как относятся ревнители азиатского пути России к Ослябе и Пересвету, героям Куликовской битвы, может, не нужно было слушать Сергия Радонежского и заводится с нашими щелеглазыми братьями, так деликатно обложившими Россию небольшой данью и не затронувшими самобытности ее культуры да и всего гармоничного развития. Но над костями воинов-иноков по-прежнему дребезжат механизмы какой-то мастерской.

А ведь надгробье воинов восстановить ничего не стоит. Это не то что Боровский монастырь реставрировать или Коломенский кремль, да ведь и с этим справились. И опять я думаю о студенческих отрядах. Как много сделали эти ребята. Я видел плоды их труда в Соловках, в Кирилловом монастыре на Вологодчине, в Поленове, где они восстановили церковь, возле которой похоронен знаменитый балетмейстер Касьян Голейзовский. Так почему же их так вяло используют? Студенты любят потную, в натяг жил, умную работу. Мне не забыть, как на берегу озера, омывающего подножие Кириллова монастыря, незнакомый студент-технар из стройотряда угостил меня блестящей лекцией о древнем зодчестве, об арочных и деревянных перекрытиях, о влиянии материала на архитектурные формы. Когда я выразил удивление перед его эрудированностью в делах, далеких от профессии, которую он избрал, студент с улыбкой показал свои вощаные мозоли, знание было добыто, как говорится, из первых рук. Нравилась ему эта работа, и как хорошо такое вот расширение культурного диапазона! Я назвал его «технарем», но как раз этот человек, где бы ни пришлось ему работать, никогда не будет узким технарем, его душу осенили история, искусство и культура.

Вот дополнительная польза от студенческих отрядов, работающих на восстановлении памятников старины.

А как хладнокровно «махнули» так называемый «Дом Фамусова» на Тверском бульваре! Пусть это и не охраняемый государством памятник старины, его важность для Москвы была в другом. Здесь жила посреди большого семейства знаменитая в начале минувшего века барыня Римская-Корсакова, послужившая Грибоедову прообразом... Фамусова. Да, да, почитайте «Москву Грибоедова» М. Гершензона, и вы узнаете все в подробностях. Это была столь щедрая натура, что немало ее черт перешло и к искателю Молчалину. Для Грибоедова ее дом был что золотое дно, и этот дом безжалостно снесли. Я уже не помню, в том же доме или в соседнем находилась старейшая в Москве аптека — тоже достопримечательность столицы, ее постигла та же участь.

Теперь на месте, дававшем приют дому Фамусова и старинной аптеке, остался пустой квадрат земли, зеленый летом, заснеженный, грязно-серый зимой с тощими деревцами по окоему, а за ним срамно раскачиваются стрелки-гири японских уличных часов. Чтобы определить по ним время, надо обладать мозгом Галилея. Впрочем, чаще всего они стоят.

В последнее время в уничтожении старой Москвы возобладал «зонный» способ. Примеры: Тульская улица, Таганская площадь, Бронная улица, Каляевская и сейчас — Сретенка. Это не исключает «выборочной» ликвидации. За десять лет снесены: палаты XVI—XVII веков на Кадашевской набережной, дом в стиле московского классицизма по ул. Гиляровского, где бывал Ленин, дом поэта Плещеева (Ружейный пер.), дом Афанасия Фета (Плющиха), дом Белинского (Рахмановский пер.), дом Щепкина (ул. Ермоловой), дом Рахманинова (Калининский просп.), в Сокольниках сгорела дача Дзержинского в Лучевой просеке. На очереди дом Есенина в Померанцевом переулке; в бесхозном состоянии дом Брюсова на проспекте Мира; под угрозой дом Щепкина на улице его имени, равно и дом

Аксакова на улице Мясковского, где бывал Гоголь. Интересно, чем так не угодил великий актер Щепкин московским добродеем, что хотят стереть всякую память о нем?

Ленинград легко любить, его ядро неизменно чуть ли не со времен Пушкина; овеян легендой «строгий, стройный вид», патина старины на прекрасных зданиях. А что осталось от Москвы моего детства? Красная площадь... Даже в исторический центр, в перепут арбатских переулков влезают безобразные башни и стандартные, безнадежно скучные громады. Кстати сказать, во всем мире берегут старинное ядро города. Я слышал, что в связи с расширением музея имени Пушкина собираются сносить старые дома на Волхонке и в прилегающих переулках, в том числе здание XVIII века. Как ни прекрасен этот музей, для народной души, может быть, важнее старые дома. Филиал музея можно развернуть и в другом месте, а со старыми домами уходит слишком много такого, чего не восполнить. Грустно, что музей, хранящий бесценные культурные сокровища, приложил руку к каинову делу.

Любовь к родине начинается с любви к своей улице — банально, но это святая правда. Проблема новых районов — прежде всего проблема нравственная. Воспитать хорошего человека среди безликих каменных коробок труднее, чем на берегу Чистых прудов или в сплетении старых арбатских переулков, где все пронизано важной памятью. Но люди, от которых зависела Москва, упорно не хотели этого понять.

Москва не стабильна именами улиц и площадей. Ее почти всю переименовали и азартно продолжают эту, тоже, по-своему, разрушительную работу. А между тем и в центре, и на окраинах есть множество улиц и переулков, для которых никак не придумают имена, добавляя порядковый номер к одному и тому же названию. Для чего понадобилось переименовывать в улицу Рылеева старый Гагаринский переулок, на углу которого с бывшим Нащокинским (ныне ул. Фурманова) не раз живал Пушкин у своего московского друга? Неужели прибавило славы творцу

«Тихого Дона», что его именем назвали исконную, сжившуюся с Москвой Зубовскую площадь? Ведь на Зубовской, а не на площади Шолохова разбил князь Пожарский войска гетмана Ходкевича и заставил их отступить на Поклонную гору; ее-то хоть не переименовали? Не связывается в нашем сознании М. Шолохов со старой Москвой. А подарить имя великого пролетарского писателя можно было одной из молодых площадей.

Кроме всего прочего, дестабильность вредна, она разрушает нервную систему. В старых английских магазинах все остается таким же, как сто и более лет назад, — человек может совершать все необходимые покупки автоматически, без затраты нервной энергии. Там и слепой не потеряется. У нас же в столице все непрочное, все в движении, в переменах, ты никогда не знаешь, окажется ли нужный магазин, учреждение, почта, сберкасса, стоянка такси на том же месте, что две недели назад; а ведь есть еще и такие привычные неожиданности как «закрыто на ремонт», «закрыто на учет», «закрыто на переучет», «санитарный день», «некому обслуживать». Ты не ощущаешь город своим домом, он все время устраивает тебе каверзы. Москва слишком долго была экспериментальной площадкой людей, которые неизвестно почему получали бесконтрольную власть над ней, власть, не направляемую любовью. И одни горе-хозяева вели успешную борьбу с зеленым убранством города: было ликвидировано Садовое бульварное кольцо, многие скверы, вырублены сады (Абрикосовый и пр.) в покровских переулках, посаженные еще при Алексее Михайловиче; сады на улице Казакова, в Самотеке, Лефортове. Заодно сносили церкви и ворота. Другая власть помещалась на площадях, путая понятие площади с понятием пустыря. Но, видимо, зрелось величие в огромных пустотах посреди города. Не следует думать, что Манежная действительно площадь, она лишена окоема, как и площади Дзержинского, Смоленская, Арбатская и даже Свердлова, а теперь и Пушкинская. И напрасно пожертвовали зданием, где помещалась одна из самых любимых

москвичами библиотек — имени Тургенева, — Кировские ворота не стали площадью. Потом наступила пора магистралей и длится до сих пор. А вот парижские улицы не расширяли и не сносили Большие бульвары, а город как-то живет и даже привлекает миллионные толпы туристов со всего света.

Туристы — это лестно, а вот москвичам не льстят те людские массы, которые заполняют Москву, особенно в летнее время. Ты уже не хозяин в своем городе, тебя оттерли от него, как от прилавка. Да он и является гигантским прилавком в глазах подавляющего числа прибывших. Туристов, бескорыстных и любознательных путешественников неизмеримо меньше, чем торговых гостей. Они не рекламируют себя, как в «Садко», но дело свое знают. Их привлекают не достопримечательности столицы, не священные камни, не музеи и зрелища, их Большой театр — ГУМ, а Малый — ЦУМ, из остальных культурных мероприятий сильнее всего притягивают мебельные, обувные и комиссионные магазины, чертоги с коврами, хрусталем, колбасой и сыром. Боже упаси упрекать ходоков в чем-либо, по-человечески все так понятно: что делать, если в их городах и весях нет даже того, чем не слишком богата столица, но москвичи среди этих целеустремленных и закаленных толп несколько теряются, и чувство родного города в них слабеет. И это тоже одна из причин нашей московской апатии. Равнодушно взираем мы на гибель старинных зданий и былых обиталищ наших великих земляков, на исчезновение арбатских особняков, тесных генеральскими башнями, равно и привычных, исторически обусловленных названий улиц, переулков, площадей, на непролазные сугробы, заносы и льды по-сельски тягостной московской зимы.

И вот что еще. Москва — колдунья, она может заставить тебя вмиг забыть обо всем, что искажает ее черты. Она бывает так неописуемо хороша, ну хотя бы в мае, когда в московские белые ночи непрозрачный сумрак окутывает золотые купола, и дивной свежестью тянет из



Александровского сада. А разве не чудо наш город в дни погожей осени, когда мешаются багрец и золото, а Москва-река отражает густо-синее небо, и мосты кажутся висящими в воздухе, и все дома с медным пожаром зари в окнах заслуживают охраны государства? Бывают счастливые дни и зимой, когда город кружевеет инеем, а пушистый снег ручается своей нежностью и белизной, что никогда не станет кошмаром сугробов, непролази и гололеда.

Москва умеет обманывать. Она поражает на подъезде к ней морем огней, золотым заревом, вселенским нимбом, и надо оказаться в ущельях темных улиц, чтобы понять, до чего плохо она освещена. Есть ночные города: Токио, Нью-Йорк, Копенгаген, есть города, в которых очарование дня спорит с очарованием ночи, и все-таки они предпочтительнее днем: Ленинград, Лондон, Прага. Москва, конечно, дневной город, едва ли найдется в Европе хуже освещенная столица. На центральных улицах то ли не хватает фонарей, то ли они горят вполнакала, то ли через один, боковые же улицы вовсе тонут в темноте, очень мало ярко освещенных витрин (впрочем, это хорошо), почти нет реклам, а неоновые — кроваво-красные и ядовито-зеленые — огни гастрономов, аптек и редких кафе удручающе художны, словом, световой феерии неоткуда взяться. И меня всегда поражает хладнокровие хозяйственников, которые месяцами мирятся с такими огненными письменами: «...астроном», «прод...ственный маг...», «парик...хер...кая».

Современным городам много света дарят уличные кафе, которых у нас вообще нет. Да обычных кафе раз-два и обчелся. В пору моего детства на углу Петровки и Столешникова находилось летнее кафе «Красный мак», славившееся своим трехслойным, высоким, как башня, и невероятно вкусным пломбиром. И как было прекрасно сидеть в скрещении двух самых оживленных улиц городского центра над башенкой из мороженого, крема и взбитых сливок, глазеть на прохожих, лениво перебрасываться замечаниями о проплывающих мимо красавицах и упиваться своей взрослостью. Тут не было и тени цинизма, семнадца-

тилетние оболтусы, мы были целомудренны и трезвы, наши загулы — это кафе «Мороженое». В одном из них на улице Горького, ближе к площади Маяковского, показывали документальные фильмы, лампы на столиках были снабжены специальными колпачками. Впрочем, каждое кафе имело свое лицо, свой ассортимент и свою музыку. Теперешние немногочисленные кафе безлики, неудобны, холодны и «невкусны», чаще всего они сбиваются на второразрядные рестораны. До войны кафе «Националь» славилось яблочным паем и кофе со сливками, «Метрополь» — бриошами и пончиками, «Артистическое», в проезде Художественного театра, — хворостом и какао; в каждом были свои завсегдашние, и старый москвич знал, кого из знакомых где искать. Сейчас это скучные столовки.

А ведь кафе — серьезнейшая часть городской жизни, место деловых и дружеских свиданий, место отдыха или передышки посреди дневных забот, место роднения с городом, а также «информационный центр», где можно почитать газету, полистать журналы, обменяться новостями, даже сплетнями — и это потребно человеку, завалинок и колодцев в городе нет.

Особенно нужны кафе молодежи. Сейчас все очень разобщены, дефицитом стало «золото человеческого общения». Наши знаменитые дворы были своего рода клубами. В исходе двадцатых—тридцатых годов жизнь была куда труднее и аскетичнее, а люди общительнее, инициативнее. Каждую зиму мы заливали в садике посреди двора каток, днем тут катались взрослые и дети, а по вечерам (над катком висела гирлянда лампочек) рубились в факе — так нам звучало непривычное слово «хоккей». У нас был красный уголок, где показывали фильмы, а раз в месяц давали концерт самодеятельности — талантливо и остроумно, так мне кажется из дали лет; я до сих пор помню все выходки «Мадам Зигзагс», которая угадывала, сколько у кого волос на голове, а не верящим ей предлагала самим пересчитать. Был круг для фигурной езды на велосипеде, у дровяных сараев находились голубиные ловушки, мы

азартно гоняли голубей: чистых, монахов, турманов, а все спорные вопросы выясняли в честном бою у помойки — без этого тоже нельзя. В подворотне каждый месяц обновлялась стенная газета, жильцы смаковали сатиру на чудовищно толстую нэпманшу, выводившую на каток двух сдобных плаксивых сыновей и крошившую неппрочный ледок своими «нурмисами».

Мама едет, лед трещит,  
Управдом в окно глядит.  
Грусть-тоска его берет,  
Что проломит мама лед.

Не Вознесенский конечно, но чем богаты, тем и рады. Сейчас дворы исчезают, какие могут быть дворы при домах-башнях, а с ними уходит многое важное в детской жизни: дворовая дружба-вражда, сложные нерархические отношения дворовой вольницы, особый кодекс чести, необходимое на заре туманной юности молодечество, добрые товарищеские драки, дворовый бескорыстный спорт и дворовые танцы. «Во дворе, где каждый вечер нам играла радиола», помните?.. Исчезнут дворы, и навсегда не станет Леньки Королева, а без него плохо.

Сейчас очень многое работает на разобщение людей и очень мало на сближение. В нашу пору, кроме общих квартир и дворов, сближало кино, на котором все мы были помешаны. Тем более что раньше в кино не забегали, а торжественно отправлялись задолго до начала сеанса послушать хороший джаз — в «Колизее» выступал ансамбль Варламова — один из лучших в стране, в «Ударнике» — Рачевского, в 1-м кинотеатре пел незабвенный Вадим Козин, — выпить газировки с вишневым или шоколадным сиропом в буфете, посмотреть на таинственные лица знаменитых киноактеров — такая экспозиция была в каждом уважающем себя кинотеатре. Телевизор разъединяет людей, его смотрят в одиночку, либо с кем-то из домашних, вполглаза и без того сопереживания, каким дарит кино. Ловкий удар шпаги неунывающего Дугласа Фербенкса исторгал восторженный вопль из каждой груди, дерзкая

выходка героев «Красных дьяволят» срывала зрителей со стульев, а на гомерически смешных и трогательных комедиях с Патом и Паташоном все становились братьями. Сейчас кинотеатры нередко пустуют, и не только по вине агрессора телевизора, но об этом дальше. Нынешнему молодому гражданину Москвы привычнее сидеть дома, или слоняться по тротуарам, или трястись в дискотеках в танцах, не создающих интимности, пары. Радость живого общения, способность что-то переживать сообща, упоение беседой исчезают из нашей жизни.

В начале шестидесятых возникли молодежные кафе, в них не танцевали, а разговаривали, спорили, читали стихи — свои и чужие, слушали песни в исполнении отечественных бардов, шумели, пили сухое вино. Но это не было главным, — лишнее доказательство того, что не следует подменять борьбу с пьянством и алкоголизмом спекулятивно-ханжескими завываниями о губительности рюмки или бутылки шампанского на свадьбе.

Однажды меня пригласили в это кафе поспорить о фильмах. Мне там понравилось — горячая атмосфера, запах молодости. В дальнейшем я что-то не слышал об этих кафе. Не знаю, что там случилось, но догадаться можно. Кого-то осенило пресловутым: как бы чего не вышло, — и натянулись административные вожжи, а молодежь так легко спугнуть. Впрочем, не исключено, что рудименты молодежных кафе остались, но уже не на радость посетителям, а ради галочки.

А что пришло взамен? Дискотеки. С их оглушительным шумом и дурным вкусом рабской подражательности. Любопытно, что дискотечные танцы тоже не работают на сближение: кавалер сам по себе дергается посреди круга из нескольких, порой вовсе незнакомых ему — язык не поворачивается сказать — партнерш, живущих самостоятельной кинетической жизнью.

В свое время заводские дворцы и клубы хорошо служили молодежи. Там не было пышных балов и блистательных представлений, которые транслируются по телевиде-

нию, не было изысканных мастеров танго, каких не встретишь и в далекой Аргентине, не было и умело-развязных певцов, орудующих шнуром микрофона ловчее самого Леонтьева, все было проще, неуклюжее и милей. Ныне кружки пения — сольного и хорового — существуют для тех, кто одарен голосом и слухом от природы, и после должной выучки может участвовать в смотрах, фестивалях, завоеывая призы, кубки, выпелы на радость руководству. Такие певцы ведут почти профессиональную жизнь, ездят на гастроли по стране и даже за рубеж. Аж завидки берут, но молодежные клубы были задуманы не ради этого. В кружки шли люди, которые не отличались выдающимися голосами, но любили и хотели петь — для себя. Ну уж если очень хорошо получится, пусть послушают свои, заводские. И рисовать, и лепить, и вышивать хотели для себя, не на выставку. Ныне же одна забота — скорее вывести любителей на суд людской и получить некий официальный статут, с которым приходит всякая сласть. Если ты шашки двигаешь, так скорее получай разряд, если на балалайке тренькаешь, то будь хоть районным лауреатом. И получается, что участники заводской самодеятельности имеют такое же отношение к рабочему коллективу, как игроки футбольной команды «Торпедо» к ЗИЛу.

Сознавая в тайне души свою оторванность от рабочей массы, заводские дворцы и клубы установили жесткий контроль у негостеприимных дверей. Похоже, дворцы вовсе не заинтересованы в аудитории, они вроде той знаменитой сельхозартели Андрея Платонова, которая обслуживала самое себя. Недавно мне довелось принять участие в помпезном мероприятии одного из лучших рабочих дворцов Москвы (не ЗИЛа, оговариваюсь сразу). Все было пышно и торжественно, как на параде, гремел духовой оркестр, колыхались знамена — вечер почему-то считался литературным, о чем вроде забыли устроители, присутствовали телевидение, радио и пресса, не было лишь одной малости — заводской аудитории, кроме членов завкома и парткома. Чтобы как-то заполнить зал, пригна-

ли бритоголовых отличников боевой и политической подготовки. Я поинтересовался: где рабочие и служащие? Видать, плохо проинформировали, равнодушно отозвался какой-то дворцовый чин. А я думаю, просто не пошли, знали, что будет скука, официальщина, парад, это всем дочертиков надоело. Сейчас люди хотят одного — правды. Правды слов, поведения, правды песни и шутки.

С удручающим однообразием новых районов все уже смирились, в том числе и обитатели громадных, неотличимых одна от другой серых коробок, оживленных красочно-облезлыми балкончиками. Похоже, смирились и с отсутствием культурных учреждений. Как говорится, лишь бы не было войны. Правда, на периферии Москвы за последние годы построено несколько двухзальных киногогигантов: «Ханой», «Будапешт», «Байконур», «Авангард», «Саяны», «Энтузиаст». Но тревожно, что зрителей в этих роскошных кинодворцах маловато. Да и по всей Москве посещаемость кинотеатров год от года падает. Глобальная причина всем ясна — телевизор, это мировое явление. Я видел в Токио целый квартал заброшенных кинотеатров — огромные мертвые дома в обрывках старых афиш, с выбитыми стеклами, словно после бомбежки. Но у японского телевидения двенадцать программ, а в Москве всего четыре. Неужели эти четыре программы потрафляют всем вкусам? Кстати, токийское кино до последнего билось за свое существование, пустив в ход радио и световую рекламу, афиши на каждом шагу и даже уличных зазывал. Ну а наши кинотеатры борются за зрителя? Впрочем, это, кажется, забота кинопроката, а тот, видать, как-то выкручивается «по валовому сбору» за счет всяких Фантомасов и Анжелик, ему и горюшка мало.

Самый простой и верный способ привлечь зрителя к фильму, да и к любому зрелищу — афиша, красивая, броская, буквально хватающая прохожего за рукав. А ведь афиша не только информирует и привлекает, она украшает город. Увы, и этого украшения лишилась Москва, афишные стенды редки и безрадостны. Настоящий киноплакат

почти исчез, его заменила серенькая бумажка с названием фильма и перечнем съемочной группы, актеров, не только не пробуждающая, а напроочь убивающая желание пойти в кино. Никто и внимания не обращает на грязно-серые простынки. А вот к чему приводит неинформированность. В Москве шел один из лучших фильмов последних лет «Мефисто» по одноименному прославленному роману Клауса Манна с замечательным актером Брандауэром в главной роли. Фильм получил премию Оскара, на него ломилась публика всех пяти континентов. Но среди моих многочисленных знакомых ни один не видел этого фильма. Рекламы не было, о фильме толком не оповестили, многие думали: раз «Мефисто», значит, что-то оперное, а кино-оперы не слишком популярны. Так и прошли мимо могучего социально-психологического фильма.

В маленьком подмосковном санатории я случайно посмотрел картину Киевской студии «Парижская драма». Я заглянул в гостиную во время показа фильма, на экране кого-то убивали, я остался. Это было любопытство уличного зеваки к несчастному случаю. Больше убийств не было, — современного западного человека подвергали сложным и мучительным нравственным испытаниям — серьезный, глубокий, необычайно интересный фильм. Но кого я ни спрашивал, никто этой картины не видел, иным казалось, что я их разыгрываю. Опять же — отсутствие информации, афиш, рекламы. Фильм мог бы доставить удовольствие миллионам зрителей, обогатив их сознание и кинокассу, но кого это заботит?

Правда, огромные мрачные щиты на улице Горького, площадях Свердлова, Смоленской и других упрямо и последовательно рекламируют те тягостные «боевики», которым никакая реклама не поможет, ибо еще до запуска в производство всем ясно, что на них никто не пойдет. Обычно этот эпохальный брак готовят к знаменательной дате то ли в наивном, то ли в циничном расчете, что выход заведомо провального и безумно дорогого фильма явит рачительное внимание самой юной (и самой испорченной)

музы к народным запросам. Кино терпит громадные убытки, а кто исчислит моральный урон от этих «творений», компрометирующих большую тему? Впрочем, с материальными потерями надумали бороться путем принудительной продажи билетов московским служащим, да еще с обязательным посещением, а это уже садизм. Чем плодить кинобрак, не лучше ли пустить деньги на популяризацию хороших фильмов, которые принесут и пользу и радость людям. Да и вообще, пора кончать с выпуском той псевдохудожественной и псевдопропагандистской продукции, будь то книги, брошюры, фильмы или спектакли, если они начисто не пользуются спросом. Ведь это бессмысленно и не оправдывается никакими софизмами.

Когда у Евг. Евтушенко была фотовыставка, он взял свои афиши, ведерко с мучным клеем, большую кисть, погрузил все это в машину и сам стал ездить по горячим точкам столицы и клеить. Сила Евтушенко в том, что он не ждет милостей ни от природы, ни от учреждений. «Профессия расклейщика афиш исчезла в Москве», — сказали мне в дирекции Политехнического музея, где у меня была встреча с читателями, о которой оповещала одна-единственная афиша у входа. Вспоминаю замечательный фильм Витторио Де Сика «Похитители велосипедов» о трагедии расклейщика афиш, у которого украли велосипед. Он в отчаянии, на что теперь содержать семью! Возможно ли у нас такое? Нет! Велосипед, конечно, могут украсть, но это не будет трагедией: попробуй содержать семью или хотя бы себя самого на зарплату расклейщика. В том-то и дело.

Но при чем тут зарплата, ведь клеить нечего? Может, и нечего, но для каждого нового фильма создается броская, яркая афиша — не пропало мастерство наших художников-плакатистов, которое так блистательно показало себя в гражданскую войну (знаменитые окна РОСТА, где работал Маяковский), в труднейшую пору Отечественной войны — как поднимали дух плакаты Кукрыниксов, Тоидзе, Иванова, Кривошеина и других! — да и после войны совет-



ский плакат процветал. То, что сейчас появляется к праздникам и памятным датам на улицах Москвы, плакатом не назовешь — схематизм, бездушие, неуважение к соотечественникам. Так вот, афиши есть, но их нет.

Не надо вообще слишком легко верить, что чего-то нет, а на нет, мол, и суда нет. Еще месяц назад москвичи с великой кротостью, которой они превосходят весь богом избранный и воспитанный в бесконечном терпении народ, смирились с тем, что Москву перестали чистить от снега и льда. Сшибались машины на загроможденных сугробами улицах, пешеходы ломали руки и ноги на тротуарной наледи, нынешняя зима стала настоящим кошмаром москвичей. «Некому работать...», «Снегоочистительные машины стоят...» — мы сами услужливо придумывали оправдания нераспорядительности, равнодушию, разгильдяйству. И вот недавно, будто родившись из воздуха, на улицах Москвы появились сотни снегоуборочных машин, ожили и схватились за скребки ушедшие в коммерческую деятельность дворничихи, желтый песок усеял поля «ледовых побоищ», город стало не узнать. Впрочем, московские старожилы припоминают: такой некогда и была зимняя Москва — чистая, прибранная, безопасная для пешеходов.

Стоит коснуться одной московской проблемы, как она тут же тянет за собой другую. И все-таки есть одна главная, проникающая во все остальные: наш город в том виде, в какой его привели, не способствует сближению людей. Смешно сказать, но гололед тоже работает на отчуждение: когда скользко, пожилые люди стараются как можно реже появляться на улице и уж подавно не ходят ни в гости, ни в кино, ни в театр. Конечно, можно и дома посидеть, не о нас, стариках, речь мы свое отжили, вот молодых жалко. Я не шучу, меня томит мысль: людям моего поколения выпала нелегкая судьба — гражданская война, голод, коллективизация, карточная система, сталинские репрессии, кровопролитная война с фашизмом, разруха, новый сталинский гнет, трудное опамятование. Но как это ни дико звучит, мы жили вроде бы веселее и ра-

достней, чем молодые хмураги, не знавшие ни культа личности, ни войны, ни урчания в пустом брюхе. Мы были счастливы нашей общностью, преданностью цели, бескорыстной заинтересованностью в жизни и открытостью души. Бывало, эту открытость оплачивали провалом отнятых лет, но мы не жертвовали страху ничем в своей душе.

Сейчас при неизмеримо возросших средствах общения и совершенной его безопасности коммуникабельность снизилась. Это распространяется почти на все формы человеческого обмена. Недаром исчез в литературе эпистолярный жанр. Писать пространные письма считается неприличным. А в старое время жизнь мало-мальски образованного человека не мыслилась без переписки. Сейчас письма вытеснены открытками, телеграммами, телефоном. Тем важнее непосредственное общение. Но у него повсеместно возникло много врагов, а в таком громадном и разбросанном городе, таком сложном механизме, как Москва, — особенно.

Кто-то сказал, что истину в одиночку не отыщешь. Наверное, в науке какие-то истины ищут в одиночестве, хотя и наука стала коллективной, ну а общечеловеческие истины лучше искать сообща. Без живых соков общения человек ссыхается в индивидуалиста.

Поскольку во имя общения мы не вернемся в коммунальные квартиры и к трамвайным скоростям, не откажемся от телевизора, не заменим телефонно-телеграфную краткость длинными эпистолами, не населим голизну новых районов кущами Ватто, влекущими к поэзии и любви, то решим, что же можно сделать уже сейчас, сегодня. Первое и самое простое: открыть двери дворцов и клубов всем, кому захочется прийти сюда просто так: поговорить, полистать журналы, послушать музыку, сразиться в шахматы. Перестать думать о зачетных очках, победах на конкурсах, всяком наваре, а силами самих посетителей сделать клубную жизнь интересной и теплой. Чтобы людям, особенно молодым, хотелось там бывать, а не подпирать стены подъездов, слоняться по улицам или торчать у домаш-

него телевизора. Чтобы клуб стал местом дружеских встреч, а не взлетной площадкой особо одаренных одиночек. Клуб не оранжерея для выращивания талантов, он для общей радости. И поменьше клубной работы, побольше игры, непринужденного общения.

Есть много способов сделать жизнь интересней, многообразней. Нужны лишь инициатива и упорство. Эти качества оказались у студентов и выпускников Химико-технологического института, создавших самодеятельный театр. Недавно ребята своими силами оборудовали помещение на улице Чехова, под боком у Театра имени Ленинского комсомола, не испугавшись грозного соседства пленительно-оглушительных рок-опер, правдивей самой жизни бормотка Петрушевской и того неистового фламандского юноши, в чье сердце стучался пепел Клааса. За годы своего существования театр накопил мускулы, создал хороший репертуар, москвичам по душе его имя «Театр на улице Чехова», нравится и дерзкое название одной из пьес «Чехов на улице Чехова».

А сейчас я остановлюсь на одной инициативе, быть может, самой плодотворной из всех, что осеняла умы беспокойных, ищущих москвичей. Идея создать литературную студию принадлежала Евгению Винникову, выпускнику Литературного института имени Горького. Своим духовным отцом Е. Винников считает замечательного писателя и драматурга Льва Славина, познакомившего его с литературно-кружковой Одессой послереволюционных лет. Через эту одесскую выучку прошли те, кто стал гордостью нашей литературы: Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев, сам Лев Славин. Но Винников задумался не о том, как «делать» писателей, а о том, как «делать читателей», высококвалифицированных, тонко и умно разбирающихся в литературе, способных захватить своим пониманием и энтузиазмом других, пассивных читателей. Литература несомненно зависит и от читательского уровня, ныне она ориентирована на некоего усредненного читателя. Спокон века в литературе идет война алой и серой розы, сейчас

читатель склоняет чашу победы в пользу серой розы. Винникову хочется создать читателя, который взметнет алую розу.

Я упрощаю, суживаю задачи кружка, чье кредо не терпит искусственных утеснений, ограничений. Никакому читателю не возбраняется пробовать свои силы в творчестве. Винников это прекрасно понимал, он не чинил препон своим студийцам, лишь постарался направить жажду творчества в русло мемуарной литературы. Подробнее об этом дальше. Вот как он построил работу объединения. В основу положено литературное научение, сказать привычно «изучение литературы» я не могу. В работе с любителями литературы нельзя пытаться дублировать филологический факультет или литвуз, поэтому программу горьковского института коллегиально адаптировали, приспособили к реальным возможностям студии. Приглашают лекторов: литературоведов, критиков. Ориентируясь на тех, кто отличается оригинальным мышлением, благо такие не перевелись. Обсуждают кружковцы и самое значительное в текущей литературе. Простите, но все это не ново... Да, вот поновее. Как уже сказано, студийцам не возбраняется писать, желающие могут выносить свои сочинения на суд товарищей. В обсуждение внесен милый привкус игры, спектакля для самих себя. Ведется оно, как во дни Карамзина, при зеленой лампе, с чаем и разными печениями домашнего изготовления. Назначается один письменный рецензент и два устных. Все трое готовятся к обсуждению с таким тщанием, будто от них зависит судьба рукописи. Серьезный, аргументированный разбор исключает пустословие, которым нередко грешат кружковые обсуждения.

Винников убежден, что каждый серьезно и глубоко живущий человек может написать одну книгу — о себе самом, своей жизни, и это будет представлять известный интерес, независимо от меры литературной одаренности автора. Богатейшая мемуаристика прошлого века служит тому доказательством. Тем более что в студии собрались

люди не обделенные жизненным опытом и продолжающие этот опыт копить, среди них — рабочие, инженеры, метро-строевцы, работники городского транспорта, журналисты (преимущественно из многотиражек), кинематографисты, машинистка. Так вот, по мысли Винникова, каждый должен оставить свое жизнеописание, и если оно не увидит свет, то явится материалом для профессиональных писателей, то есть все равно сослужит добрую службу. Это перекликается с горьковской «Историей фабрик и заводов», только без профессионального ограничения. А идея та же: создать групповой портрет времени, зафиксировать бесценный человеческий опыт, который может послужить и литературе.

Чтобы не быть голословным, приведу два примера. В Москву по лимиту приехала девушка, кончила курсы вагоновожатых и стала водить трамвай. Потом она поступила в студию к Винникову и через несколько лет написала книгу, назвав ее «Маршрут номер 6». Главы уже опубликованы, теперь очередь за книгой.

А вот еще один человек. Сейчас ему под сорок. Он много успел. Кончил «ремеслуху» по двум специальностям: слесарной и столярной. Пошел работать на «Красную Розу», и по той, и по другой специальности добился высшего разряда. Но вдруг влюбился в мчащиеся под Москвой поезда. Пошел на курсы машинистов. Поработал помощником, потом сам стал водить быстрые составы. Сейчас он машинист экстра-класса. Лет десять занимался в театральной студии при клубе имени Русакова, переиграл немало ролей, обнаружив несомненный артистический дар, но перейти на профессиональную сцену категорически отказался, хотя такие возможности были. «У меня есть работа, которую я люблю и которая меня кормит. Пусть театр останется для души». В клубе он баловался шашками и добаловался до того, что в составе команды рабочих-шашкистов поехал на турнир в Голландию. Там уважают рабочий спорт, наши шашкисты были приняты королевой. Ее величество изволило ласково беседовать с

метростроевцем-шашистом. Еще ласковой беседовали с ним по возвращении домой сообразительные люди, предложившие «вытянуть» его в мастера спорта. Он наотрез отказался и продолжал водить подземные поезда. Однажды он ошибся дверью и, вместо драмкружка, попал на заседание «Зеленой лампы». И ему так понравилось, что он стал одним из ревностных студийцев. После долгих и довольно неудачных попыток он нашел себя в литературной пародии. Но, конечно, от него ждут книгу о своей жизни. Это будет интересное и поучительное чтение. Он так много успел, так прямо и честно шел по жизни, достигая потолка в каждом деле, за которое брался, и не соблазняясь дарами легкого пути. Ныне студия, сменив двух хозяев, обрела надежное пристанище в саду «Эрмитаж», где для нее отстраивается помещение при Зеркальном театре. Студия, начинавшая как бедный родственник заевшихся профсоюзных культуртрегеров и нахлебник нищей госкультуры, сейчас прочно стала на ноги. Широкий успех и популярность принесло студии новое начинание: театрализованные литературные вечера. На них оказался большой спрос, и студия обзавелась открытым счетом в банке. От оплаты наличными решительно отказались: деньги обладают свойством прилипать к рукам. К тому же они порождают тот вид эпистолярной литературы, который вовсе нежелателен и называется деликатно — заявление, по-старинному — донос.

В нынешнем году у студии, получившей новое имя «Сокольники — Эрмитаж», два знаменательных события: первый выпуск и новый набор — семьдесят человек. На базе ее создается Московский центр самодеятельных театров.

Все это отрадные сдвиги. Особенно если б речь шла о Понырях или Калязине, но для Москвы прирост культуры за десять лет в виде двух самодеятельных театров и литературной студии, пожалуй, маловат. Боюсь, что жителей Орехова — Борисова, Медведкова, Ясенева, Конькова — Деревлева и других окраинных районов не осенит ласковый свет зеленой лампы. До каких пор Министерство

культуры будет работать в темпе изнемогающего в пустыне каравана, время не ждет, и так многое упущено.

Но мы все о досуге, о развлечениях, самодеятельности и самообразовании. А ведь Москва не Диснейленд и не воскресная школа. Москва — могучий организм, призванный обеспечивать существование многомиллионного населения, бесперебойную работу огромной промышленности, на Москве лежит забота о всех государственных учреждениях страны, здесь находятся Академия наук, Медицинская академия, Академия художеств, крупнейшие музеи, книгохранилища, архивы, это центр туризма и всех международных связей. Москва воистину мировой город, связанный со всеми живыми точками планеты.

Для города особенно важны коммуникации. Трагедии всех современных больших городов — перенаселенность и переполненность автомобильным транспортом, кромешные, как в аду, часы пик. В этом отношении Москва вполне на уровне мировых стандартов. Но вот что странно: Москва пожертвовала своим исторически сложившимся центром, сметя узкие кривые улицы и создав вместо них широченные магистрали, перекрестки превратила в площади, а площади в пустыри — такого расточительства не может позволить себе ни один город в мире, ибо земля чудовищно дорога и каждый метр городской площади стараются максимально использовать, кроме того, в Москве куда меньше легковых автомобилей, если сравнить ее со столицами такого же ранга, но пробки на широких улицах стали привычным делом, припарковаться в центре негде, а воздух загазован до предела. Последнее объясняется обилием грузовиков и старых зилевских автобусов, исторгающих из перегоревших глушителей такой смрад, что попади под струю живое существо, оно тут же бы околело. ГАИ цепляется к любой малости, когда дело касается частных, но совершенно равнодушно к тому, что губительно для здоровья граждан.

В хорошем современном городе грузовик в дневное время не увидишь. Локальные поставки осуществляются а

помощью пикапов и трехколесных машин с мотоциклетным мотором; «суперлайнеры» появляются лишь в ночное время, с хорошо отрегулированным, не рычащим, как голодный тигр, мотором, исправным глушителем и трезвым водителем. Один мой знакомый профессор-француз, увидев на улице Воровского среди бела дня гремящий бортами, вихляющий из стороны в сторону, источающий клубы черного дыма самосвал, долго глядел ему вслед, затем сказал понимающе: «А-а, это съемки скрытой камерой!» Он думал, что снимается фильм ужасов, а за рулем каскадер. Не должно быть грузовиков на московских улицах днем, лишь в паре со снегоуборочной машиной.

Почему в Москве так трудно припарковаться, ведь места сколько хочешь. Например, по всей новой части Калининского — сплошь торгового — проспекта стоянки запрещены. Но от тротуара до мостовой тянутся широченные пустынные закрайки, как будто созданные для того, чтобы на них ставили машины. Так раньше и делали, и всем было удобно, но в милиции сообразили, что это самоуправство. Кто позволил? Запретить! Сказано — сделано. И не скупятся держать посты, чтобы гонять и карать «нарушителей». А может, это отрыжка той мрачной поры, когда весь район Арбат считался табу.

Громадное пустынное пространство Манежной площади могло бы приютить весь личный транспорт, заехавший в центр, но опять фуку — и водители мучаются, не зная, где оставить машину. По-крысиному расплодившиеся дорожные знаки запрета — часть общей тенденции к бессмысленному запрещению. Почему в журналы «Огонек» или «Пионер» нельзя пройти без пропуска? Это что — военные секретные объекты? Почему, переступив порог «Советской культуры», ты утыкаешься носом в прокисшую шинель вахтера? Что и от кого он хранит? За всем этим — извращенная психология: видеть в каждом гражданине злоумышленника, врага. Пора кончать с подобной практикой. Надо разрешать, разрешать что только можно, тогда будет больше порядка и разума в жизни столицы.



В морозные дни зимы до боли очевидна и горестна нехватка общественного транспорта в столице. Тяжело смотреть на бесконечные иззябшие очереди у автобусных и троллейбусных остановок, окутанные гриппозным паром дыхания, просквоженным кровавым неоновым светом. Когда городское начальство пронеслось на нежно шуршащих шинах своих ЗИЛов и «чаек», задернув кремовые занавесочки, неужели ему не жалко было своих усталых, замерзших, измученных братьев в человечестве, вечных пешеходов Москвы? Грустно и страшно думать, что пустое сердце спокойно и упруго колотилось о лежащий в нагрудном кармане партийный билет.

И еще один проклятый вопрос: почему таксисты так часто едут не туда, куда тебе нужно, или на обед, или в парк, или вообще никуда не едут, пребывая в таинственном ожидании какого-то чудо-пассажира. Неужели и они не заинтересованы в законном заработке плюс скромные чаевые? Да, это так. Каждый, уважающий себя, но не своих сограждан, таксист метит в мини-автобусы, везущие разных пассажиров по одному и тому же маршруту за отдельную плату; все платят полностью то, что указано на счетчике. Если же он пробился на трассу «Домодедово — Шереметьево» и обратно или «Шереметьево — Внуково» и обратно, то он — мини-автобус с макси-заработком. С таким большим заработком, что из него уделяется не только обычным мздоимцам: мойщику, механику, сторожу и директору гаража, но и милиционерам, дежурящим в аэропортах, гаишникам ближайшего поста и комсомольским патрулям. Понятно, почему среди таксистов нередко встретишь бывшего инженера, запрятавшего подальше диплом, или скрывающего свою ученую степень.

Я всегда с интересом смотрю на сотрудника ГАИ, который карает меня за отказавший сигнал поворота, перегоревшую лампочку, отсутствие бокового зеркала (украденного, когда я смотрел спектакль в новом помещении МХАТа и страшно простудился, так дуло со сцены), за помятый бампер или крыло, за разбитый подфарник. Он

ведь прекрасно знает, что нужных запчастей почти никогда не бывает в продаже, надо месяцами обивать пороги магазина, чтобы случайно застать дефицитную деталь. Он знает также, что своим карающим жестом толкает меня на мелкое преступление: я куплю эту запчасть у таксиста, который украдет ее в своем гараже, а если у меня «Москвич», то у проходной одноименного завода, где можно за две недели набрать на всю машину, включая кузов. Я не стану писать о работе московских станций техобслуживания, ибо это материал для уголовной хроники. По той же причине не стану писать о московской торговле, которой всерьез занялись органы правопорядка.

Но в Москве, помимо госторговли, есть рынки в каждом районе — большие, заметные, густонаселенные, это естественная часть городского бытия, а рыночная торговля — важная питательная артерия, без которой покамест не обойтись. Да и зачем обходиться, будь рыночные цены ниже государственных, как и должно быть при здоровой экономике. Продавать излишки своей продукции — неотъемлемое право сельских жителей. Но если рыночные цены намного выше государственных и не снижаются даже в те месяцы, когда госторговля способна обеспечить население данным видом продукции, то это говорит о суверенной мощи частного сектора и о неблагополучии в социалистической экономике. Что поделаешь, в настоящее время ту часть запросов населения, которую удовлетворяет рынок, государство не может взять на себя, значит, приходится мириться с существующей практикой. Но из этого не следует, что нужно ломать шапку перед рынком. С ним можно и нужно соревноваться средствами потребительской кооперации. При каждом рынке есть такие отделения, выдержанные в нарочито плюгавом стиле. Когда видишь аккуратно и аппетитно разложенный свежайший товар веселых румяных девок, задорных моложавых бабок и лихих джигитов в громадных кепках, становится грустно за унылых, часто нетрезвых бедолаг в грязных фартуках, кое-как управляющихся с невымытыми, обвялыми овощами за

прилавками потребкооперации. Как будто кто-то, сильно не любящий Советскую власть, задался целью наглядно показать превосходство частного сектора над общественными формами хозяйствования.

Оказывается, кооперация могла бы и не ударить в грязь лицом перед частниками, но московские руководители всячески препятствовали их торговле под гулкими сводами столичных рынков, отсылая в сельскую местность, где они вовсе не нужны. И кооперативная торговля на рынках стала вести жалкое сосуществование с частниками.

Разговор о рынке толкнул мою блуждающую мысль к теме вежливости, вернее, невежливости, а если прямо: к хамству. Рынок — это едва ли не единственное общественное место в столице, где с тобой вежливы, в частном секторе разумеется, кооперация и тут не на высоте. Все жители нашей необъятной Родины едины в том, что Москва самый невежливый город в стране. Спросите прохожего москвича, где находится нужная вам улица, переулок, учреждение, — даже не выслушав толком, он буркнет: «Я не здешний!» — и брезгливо пройдет мимо. Почему в Москве все нездешние? Состав Москвы меняется, обновляется, но ведь обычно люди, получившие московскую прописку, остаются тут навсегда и не имеют морального права ссылаться на свою «потусторонность». Я уже надоел с Ленинградом, но любой тамошний новожил считает себя кореным ленинградцем и трогательно гордится своим скороспелым знанием города. А москвич и с многолетним стажем не стремится узнать свой великий город, вроде бы бравурует его незнанием. Это заразило даже тех, у кого Москва в крови, может, и раздражение против тьмы приезжих сказывается, но не обращайтесь к московским прохожим, вразумительного ответа вы не услышите.

А как ведут себя москвичи в местах людского скопления, как разговаривают в магазинах, на почте, в прачечной, сберкассах — это страшно. И если в магазинах приоритет на хамство принадлежит продавцу как власть иму-

шему, то в остальных случаях первым заводится обычно клиент, правда, подвергшаяся агрессии сторона быстро берет верх в силу натренированности и лучшей защищенности. Что стоит за грубостью отношений? О, многое! С одной стороны, сорванная московским образом жизни: транспортными муками, очередями, вечной нехваткой того, что нужно, нервная система, с другой — незаинтересованность в работе при острой нехватке кадров в сфере обслуживания. Приемщица в прачечной сказала: «За эти гроши да еще улыбаться!..» — она по-своему права. наших туристов поражает вежливость продавцов, официантов, гостиничных служащих за бугром. Там существует правило: клиент всегда прав — и страх безработицы. Такая вот принудительная вежливость, под угрозой увольнения, не для нас. Нашим людям на низкооплачиваемых должностях чужд страх увольнения. Обратимся к опыту Аэрофлота. Свое обслуживание пассажиров он определяет как «ненавязчивое» — прекрасная формулировка! Вот за такую ненавязчивую вежливость мы должны бороться. Чтобы щадить друг друга, не собачиться по-пустому. Это продлит жизнь как обслуживающим, так и обслуживаемым. Да и нет между нами барьера: мы все обслуживаем друг друга.

К ненавязчивой вежливости способен каждый, как бы ни были у него сорваны нервы. Берусь это доказать. Когда вас намнут в метро или автобусе, когда, уже опаздывая, вы поскользнулись возле проходной и вывихнули ногу, когда жена сообщила по телефону, что не достала молока для ребенка таким тоном, будто это ваша вина, когда, нахлебавшись служебных неприятностей, вы проторчали лишних два часа на собрании, нужном лишь для галочки, когда вас, хромающего, записали в лыжный поход в честь какой-то даты и на овощную базу в обычном порядке, то, возвращаясь с работы, обремененный рядом домашних поручений, выстояв километровую очередь на автобус, — а мороз под тридцать, — вы не запоете шубертовское «Как на душе мне легко и спокойно», не пропу-

стите даму вперед и, может, кого-то облаете (ту же даму), а кому-то (той же даме) дадите под ребро — с вас взятки гладки, вы доведены!.. Не верьте этому. Вы на редкость выдержанный, полный самообладания субъект с железными нервами. Ведь вы не накричите на своего начальника, когда он порет несусветную чушь или предлагает вам, бухгалтеру, «создать ажур» там, где ажур нет и в помине, вы не посмеете отказаться от перебора гнилья в склепной стуже, хотя вы не овощник, а инженер, ученый, финансист, плановик, студент, к тому же простуженный, вы подобострастны с жэковским слесарем — пьяницей и хапугой, вы молчите, когда вас обвешивает продавец и вами всегда владеет чувство глубокого удовлетворения. Вы разнуздываетесь лишь там, где вам ничего не грозит. Значит, вы аггрируете свою болезнь, так это называется в медицине. Вы совсем не такой невежливый человек, как это кажется вам самому и всем, от кого вы не зависите. Немного усилий, и природная ваша вежливость распространится на всех, а вы в свою очередь будете купаться в волнах чужой вежливости.

А не переборщил ли я? Что же, в Москве все так плохо? Конечно, нет. Город живет!.. Но вспоминаются слова О. Мандельштама: «Мы думаем, что все в порядке, потому что ходят трамваи». Обобщите слово «трамваи», пусть оно объемлет все виды городского транспорта и городские службы, МХАТ, Малый театр, цирк, детскую оперу Наталии Сац и образцовских кукол, ансамбль Моисеева, консерваторию, стадион им. Ленина, музей им. Пушкина с его великолепными экспозициями и культурной программой, да мало ли сколько еще в Москве хорошего, талантливого, значительного, и вы уверитесь, что все в полном порядке. Нет, не в порядке, не надо себя обманывать, лучше смотреть правде в глаза.

Выработалась чрезвычайно дурная манера говорить о наших недостатках. Чтобы тебя не обвинили в очернительстве, а тем паче в клевете, надо прежде всего развернуть сияющую панораму наших достижений, которые так вели-

колепны, что на их фоне любые недостатки кажутся мелкими, незначительными. А людям, виновным в этих недостатках, только того и надо, — если стрела и достигнет их, то уже на излете.

Я жалею не о том, что сказал, а о том, что сказал далеко не все. После войны в Москве не построено ни одного драматического театра. Достроено два, причем один (МХАТ) настолько неудачно, что актеры не хотят там играть. Но играть приходится, потому что основное здание, исторический дом Чехова и Горького, ремонтируется вот уже восемь лет. Но разве дело в зданиях? Мы теряем нашу любовь, нашу гордость Большой театр. Да, величественные стены и стройные колонны Бове стоят, и все так же мощно правит своей квадригой Аполлон, и сияет позолотой, алеет бархатом зал, озаренный светом гигантского хрусталя, ну а что на сцене? Оперный репертуар случаен, это какой-то ералаш. И можно ли представить себе оперу без колоратурного сопрано и лирического тенора? Формально такие голоса, конечно, в труппе числятся, но это лишь «исполняющие обязанности». Поэтому не ставятся самые популярные оперы, такие, как «Риголетто», «Фауст», «Ромео и Джульетта», «Богема», «Вертер», «Майская ночь», а на «Травиату» стоит пойти лишь в том случае, если партию Альфреда вновь споет драматический тенор В. Атлантов, которого куда чаще слышат меломаны Вероны и Милана, нежели москвичи. Замечательный артист не виноват, он не раз с полным чистосердечием говорил, что охотнее пел бы дома, да петь нечего.

Мы привыкли злоупотреблять словом «культура», применяя его ни к селу ни к городу. И все же, мне кажется, позволительно говорить о «культуре руководства». Это предполагает причастность руководителей к духовному опыту народа, к его хрупким нравственным ценностям, умение видеть за толпой человека, а в человеке — личность, и беречь пуще зеницы ока это золотое человечье, дороже чего нет на свете.

Но давайте помнить и о своей ответственности. Да,

жить в нашем городе стало трудно, и причин тому много, тут не справишься в один присест, нужно время, терпение, труд. Соборный — всех нас. Мы явили высочайшее достоинство в годину суровых испытаний, когда смерть висела над каждой головой, так нам ли разваливаться от бытовых неудобств, пусть досадительных, и зачем отрясать гроздья гнева друг на друга, не лучше ли обратить нашу силу против того, что нам мешает? Мы же любим Москву, нам тяжела даже короткая разлука с ней, так вспомним о нашей московской гордости и заглохшем гражданском чувстве.

### ПРОБУЖДЕНИЕ

Это не подведение итогов, даже предварительных. Ведь и года не прошло с тех пор, как завязался большой, можно смело сказать, неслыханный по серьезности, резкой, нелицеприятной прямоте, правде, горечи, тревоге, гневу и заботе разговор о судьбе нашего великого города.

Год — это и много и мало в короткой и нетерпеливой человеческой жизни — ведь так мотыльково краток срок пребывания каждого из нас на земле, ни надышаться, ни наглядеться не успеешь, год — это много, если вспомнить, что иной успевает наколдовать за этот срок, но на весах вечности — год меньше, чем песчинка. Впрочем, уходящий год был для нас необыкновенно значительным, важным, трудным и горестным — один Чернобыль чего стоит! — а тут еще новороссийская трагедия и другие печальные события, и вместе — это великий, революционный год, который отбросит свой свет далеко, далеко вперед, и мерить его надо особой меркой.

Когда говоришь о Москве, следует помнить обо всем, чем наполнен был минувший год, ибо нельзя изолировать столицу от общей судьбы Родины, нельзя решать ее проблемы в отрыве от общенародных проблем, вне единого потока исторической жизни, из которого не выпрыгнешь, как бы предусмотрителен и проницателен ты ни был.

Самое отрадное для автора очерка «О Москве с надеждой и любовью» — название стало рубрикой в газете, — и для тех, кто разделял его чувство, — это необыкновенный: дружный, горячий, да что там — раскаленный — отклик тысяч и тысяч читательских сердец.

Я заблуждался, когда обвинял москвичей в равнодушии к своему городу, утрате московского патриотизма, той преданности месту, что так радует в ленинградцах. Нет, не остыло чувство столичных жителей к родному городу, просто, загнанное внутрь, затаилось на дне души. Нас всех высокомерно, чтобы не сказать презрительно, отстранили от участия в московских заботах, нашего мнения ни о чем не спрашивали, не советовались с нами ни по одному жизненно важному для Москвы вопросу, и мы поневоле отошли в сторону, замолкли, похоронив в себе обиду и боль. Не все, конечно, иные пытались подать голос в защиту столицы, но им затыкали рот.

Но едва повеяло свежим ветром, забрезжила надежда на перемены, отверзлись все уста, очнулась любовь к Москве, никогда не умиравшая в нас. А руки потянулись к лопатам, киркам, тачкам, чтобы приложить силу к тому, что еще можно спасти.

Замечательно, что среди откликнувшихся на голос московской скорби, были не только москвичи, а жители самых далеких окраин Родины: Владивостока, Камчатки, Сахалина, Памира, Крайнего Севера, многие из которых никогда не бывали в столице и неизвестно — будут ли. Но ведь Москва принадлежит не только москвичам, она общее достояние, и ее раны кровоточат у каждого.

Было и еще одно в этих дружных откликах, особенно часто встречавшееся в письмах из старых русских и украинских городов и маленьких, не всегда помеченных «на карте генеральной» городков округ столицы: боль за уничтожаемую красоту прошлого нашей земли, ее исторические памятники, прекрасные творения старинного культового и светского зодчества. Вот один из множества примеров. Не так давно у меня вышла повесть о замеча-



тельном музыканте прошлого века Юрии Голицыне, выдающемся капельмейстере, создателе одного из лучших народных хоров, популяризаторе русского мелоса в Европе и Америке, поразительно ярком и своеобразном человеке. Он был другом Герцена и Огарева, корреспондентом «Колокола», за что его лишили чинов и званий и сослали в Козлов (теперешний Мичуринск) под надзор полиции. И вот мне прислали фотографию очаровательного ампирного особняка, где в годы ссылки проживал князь Голицын. Если быть точным, то — горестных останков этого особняка: облупившиеся стены, выбитые окна, отвалившаяся лепнина, крыша набекрень. И все же восстановить его можно без особого труда: студенческому отряду месяца на два-три работы. Но этого не делают и, похоже, не собираются делать, хотя город отнюдь не богат памятниками старины.

Впрочем, стоит ли удаляться от Москвы? По прямому указанию начальника ПЖРО Свердловского района Москвы Гриднева А. С. был снесен историко-мемориальный памятник «Дом Щепкина» (ул. Ермолова, д. 16), находившийся под охраной государства. Общество по охране памятников обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь Гриднева А. С. к уголовной ответственности по законам нашей страны. Великолепен ответ прокурора Свердловского района А. А. Баженова, не усмотревшего в этой акции «состава уголовно наказуемого деяния», ибо «Гриднев не знал, что дом по улице Ермолова, 16 является памятником и узнал об этом лишь после сноса». По поводу «Дома Щепкина» без конца писали и говорили, но, видимо, Гриднев А. С. газет не читает, телевизора не смотрит, радио не слушает и не может отличить старинное здание от барака, и от таких вот «деятелей» зависит наш многострадальный город! Ведь эдак «по незнанию» могут махнуть Кутафью башню, Юсуповские палаты, Дом Пашкова, благо есть такие защитники разрушителей, как младший советник юстиции А. А. Баженов!

Впрочем, зачем предположения, когда есть факты. Вот

далеко не полный список преступлений против столицы:

1. Дом № 25 по ул. Гиляровского разобран на основании решения исполкома Моссовета с последующим восстановлением. Материал разобранного дома и элементы архитектурно-художественного убранства утрачены. Дом, естественно, не восстановлен.

2. Дом № 3 в Ружейном переулке (Плещеева) — разобран с условием последующего восстановления. Материал разобранного дома утрачен. Дом не восстановлен.

3. Усадебный дом Остермана-Толстого с двумя флигелями по Самарскому переулку. Разобран с условием последующего восстановления. Бревна и архитектурные детали (лепнина, изразцовые печи, белокаменные блоки подвалов) были замаркированы и после демонтажа складированы в различных местах. В настоящее время бревна срубных конструкций дома, сваленные на одной из хозяйственных площадок в районе Сельскохозяйственной улицы, никем не охраняемые и не укрытые от осадков, превратились в труху. Восстановление усадьбы, намеченное на XI пятилетку, не осуществлено.

4. Дом Фета по ул. Плющиха, 38 разобран с условием последующего восстановления. Материал разобранного дома утрачен. Сохранилась мемориальная доска этого дома (находится в Ленинском районном отделении ВООПИК).

5. Дом № 11 по пр. Калинина, бывшая гостиница «Америка», где подолгу жил С. В. Рахманинов, снесен с условием последующего восстановления. При разборе уничтожены элементы убранства дома, собранные архитекторами, проводившими обмеры, в его подвалах. Дом не восстановлен.

5. Дом Белинского по Рахмановскому пер., 4. Разобран с последующим восстановлением. Отчаявшись в этом, ЦС ВООПИК в порыве слабости внес предложение поставить на пустыре памятный знак с надписью, напоминающей о снесенном доме и его знаменитом насельнике. А вдруг и впрямь пойдет по такому пути!..

Еще об одном московском безобразии скажу несколько подробнее. Наверное, всем в зубах навязли разговоры о могиле героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби. Было правительственное решение о сбережении бесценного памятника русской славы, находящегося на территории завода «Динамо». Москвичи вздохнули свободно, полагая, что такое решение гарантирует сохранность мемориала. Ничего подобного: над памятником вновь нависла угроза, на этот раз, похоже, смертельная. Завод собирается ставить новый цех и непременно в такой близости от церковки, приютившей могилы героев, что она неминуемо сползет в овраг. На большой территории завода есть другое место для цеха, пригодное по всем показателям, но кому-то ужасно не хочется потакать «дурацким выдумкам» ревнителей старины. К сожалению, министр культуры РСФСР Ю. Мелентьев, который мог бы сказать свое веское слово, уподобился Понтию Пилату и «умыл руки».

А как же правительственное решение? Оказывается, его ничего не стоит похоронить в ведомственной кутерьме. Мне подробно рассказал о том, как это делается, член Общества по охране памятников старины, почтенный, не первой молодости человек, принадлежащий к тем прекрасным энтузиастам, что после тяжелого трудового дня и кошмаров общественного транспорта в часы пик не ленились натянуть ватник, взять лопату или кирку и отправиться на другой конец города спасать порушенные ценности. Я не смог запомнить чудовищные — язык свернешь — названия всех учреждений и ведомств, игральщиком которых становится мудрое и справедливое решение, и воспользуюсь словесным арсеналом Ильфа и Петрова.

— Видите ли, каждое решение прежде всего попадает в «КЛООП», оттуда направляется «ФОРТИНБРАСА ПРИ ГЛАВКОУПАКЕ», которое ничего не может решить без «ГЕРКУЛЕСА». Но куда вы денетесь без «ФУКУ»?

И правда, без «ФУКУ» деваться некуда. Впрочем, это уже не из Ильфа — Петрова, а из Евтушенко; да какая разница, как называются звенья той бесконечной бюро-

кратической цепи, которая душит любое доброе начинание?

Горько, что я не могу прервать эту печальную тему рассказом о каком-нибудь спасенном от разрушения прекрасном старинном здании и о радости моих земляков. Как трогательно умеют радоваться москвичи каждой доброй малости, когда речь идет о нашем городе! С полгода назад двум улицам и одной станции метро вернули прежние названия: «Метростроевская» стала вновь «Остоженкой», «Фрунзенский вал» — «Хамовническим», а метро «Лермонтовская» — «Красными воротами». Кстати, выдающийся зодчий, академик Фомин специально использовал красный мрамор для отделки вестибюля построенной им станции, чтобы цвет материала соответствовал названию старинного московского места. Но до этого не было никакого дела «реформаторам», сделавшим Лермонтову подарок, в котором тот вовсе не нуждался. Зачем творцу «Демона» станция метро?

Москвичи радовались возвращению старых названий так, словно каждый получил по лампе Аладдина и ковру-самолету. Люди поздравляли друг друга с праздником, в глазах стояли слезы. И это легко понять — все мы владели чувством наконец-то восторжествовавшей справедливости, хоть в чем-то посчитались с нашими желаниями и увидели в нас граждан, а не сырую глину, которую административные лепщики мнут как им заблагорассудится.

Но, к сожалению, праздник на том и кончился. Тщетно ждали москвичи, что другим старым улицам вернут их исконные названия, что опять будет Мясницкая, восхищавшая Пушкина, благо параллельно ей возник новый проспект, и Зубовская площадь, славная победой князя Пожарского над захватчиками. И ведь автор памятника Шолохову обратился через печать к городским властям с просьбой отвести монументу другое место, и просьба совежливого художника, уверенного, что площади вернут ее старое имя, была удовлетворена. Так за чем же дело стало?..

Говорят: слишком это непросто и накладно — менять названия, и дощечки новые надо заказывать, и корректировать московские справочники. Но ведь те же расходы и хлопоты сопровождают переименование старых улиц, и это никогда никого не останавливало. Значит, опять равнодушные, лень, въевшееся в кровь несчитание с гражданами, и в этой трясине вязнут энергия, добрая воля новых руководителей столицы.

И все-таки москвичей постигла огромная радость, пусть в основе ее не созидание, а пресечение. Но иногда такая акция стоит любого зиждительства. Я имел в виду отказ от бездарно-помпезного, холодного монумента Победы на полууничтоженной ради него Поклонной горе, которая сама по себе — естественный и бесценный мемориал. Здесь тщетно ждал Наполеон ключей от Москвы, здесь прекратился счет его победам.

Удивительное, но и обычное дело. Как только стало известно, что общественность Москвы, да и всей страны, яростно протестует против кощунственного памятника, вялые работы на Поклонной горе нездорово оживились: подъемные краны, напоминавшие уснувших жирафов, вдруг разом ожили и завертели во все стороны своими длинными шеями, забегали самосвалы и могучие КамАЗы, а железные челюсти бульдозеров яростно впились в истерзанное тело многострадального холма. По счастью, эта активность была скоро прекращена. Все затихло, замерло, уснуло — надолго, пока не будет рассмотрен и принят всем народом проект, достойный бессмертного подвига.

А вот добрые дела продвигаются медленно. Сколько уже лет ремонтируется и перестраивается старое здание МХАТа, но оказывается, «не будь в октябре прошлого года своевременного распоряжения о завершении работ по МХАТу, неизвестно как бы разворачивались события» (из газет). Вот это да! А разве в приказе о начале строительства не был указан и срок его завершения? Был, конечно, но без допинга в виде «своевременного распоряжения» нечего было и думать об окончании работ. Не применить ли

этот чудодейственный метод к Третьяковке, по которой уже соскучились москвичи? И к маленькой церкви на Сре-тенке, где некогда находилась слобода мастеровых печатников. Построили эту церковь в те стародавние времена неизмеримо быстрее, чем сейчас восстанавливают.

Так все тяжело идет у нас, а ведь достаточно «свое-временно распорядиться»...

Нежданно-негаданно болевой точкой Москвы стало метро, о котором мы привыкли думать как о лучшем в мире. Несомненно, когда-то оно таким и было, но нельзя жить на проценты от минувшей славы. Тревожный сигнал прозвучал давно, катастрофой на Авиамоторной, повлекшей немалые человеческие жертвы. Но в ту пору все достижения — нередко мнимые — безудержно раздувались, а недостатки, просчеты, пороки... нет, не преуменьшались даже, их просто не замечали. И ни для кого не было секретом, что эскалатор развалился, потому что станцию то-ропились сдать к какому-то празднику. Кому это было нужно? Москвичам? Они могли бы и подождать, чего-чего, а терпения у нас хватает. Нет, это начальство играло в свои игры. Подобная порочная практика применялась повсеместно, и никому даже в голову не приходило подвергнуть ее сомнению. Так же сдавались жилые дома: без лестниц и уборных, но непременно к праздникам. Привыкли все делать напоказ. Для рапорта и наград.

Сейчас метро работает откровенно плохо. Оно не справляется с потоком пассажиров, случаются перебои в движении, мелкие аварии перестали удивлять, запазды-вает ввод новых линий. А недавно обнаружился еще один порок «лучшего в мире», в котором нынешние метростро-евцы ничуть не повинны. И зазвучало среди обывателей забытое и отвратительное слово «вредительство», под ко-торое в свое время было загублено столько ни в чем не повинных людей. Штольни метро, проходящие в большей своей части на значительной глубине, приближаются к поверхности земли там, где расположены ценнейшие строения Москвы: Ленинская библиотека, включая жем-

чужину столицы, творение гениального Баженова — Дом Пашкова, а также музей им. Пушкина, созданный высоким фанатизмом профессора Цветаева. И Кутафья башня оказалась в опасной зоне, и весь старый Арбат. Недавно в треснувший фундамент музея им. Пушкина забрили — под надзором единственного в столице специалиста — громадную бетонную пробку, но можно ли сохранить здание подобным паллиативным способом? Ленинская библиотека так дрожит и содрогается от движения поездов, что, находясь там, не слышишь собственного сердца. Очевидно, книжную несметь будут переселять...

А корень у многоликого зла один: самовластье. С народом, жителями Москвы отродясь ни о чем не советовались. И когда сносили памятники древнего зодчества, и храм Христа Спасителя, прекрасный белизной, золотом, величественным местоположением и памятью о победе над Наполеоном, когда уничтожали бульвары Садового кольца и старые — со времен Ивана III — сады по обе стороны «царевой дороги», тянувшейся от Кремля к загородным царским вотчинам, и когда загоняли в тень Василия Блаженного памятник спасителям Руси Минину и Пожарскому, и когда столь символично убрали монумент Свободы против Моссовета, там, где сейчас заваливается вместе с конем в сторону «Арагви» полулегендарный основатель Москвы Юрий Долгорукий, и когда бронзового Пушкина прогнали с того единственного места, где ему надлежит стоять, имея за плечами ленту бульвара, то зеленую, то огнисто-золотую, то снежно-белую, — не перечислить всех ран, нанесенных Москве, чаще всего не по злобе, а по некультурности, чуждости московской почве, малости разума. И не знала бы Москва всех этих бед, если б обращались к крепкому и охватистому народному уму. Но его просто исключили из государственных расчетов.

Великий спортсмен и замечательный, высоко нравственный человек Юрий Власов говорил на вечере в Останкине, что ему противно, ненавистно нынешнее мгновенное прозрение. Конечно, такое «прозрение» не может быть ис-

кренним, это игра, лицемерие, желание сохранить место в изменившихся условиях, остаться на фасаде жизни. Но меня, по правде, угнетает другое: многие люди, еще облеченные властью принимать решения и уж подавно — мешать движению вперед, вовсе не играют в прозрение, а тем наче, в раскаяние, а посмеиваются над теми, кто верит в серьезность перестройки (в Горплане улюлюкают над претензиями Общества по охране памятников старины), и не скрывают уверенности, что «говорильня» кончится и все вернется на круги своя.

Последнее — любимая тема «нижних» и «верхних» мещан. К первой, весьма многочисленной, принадлежат все бездельники, лодыри, дешевые циники, духовные отщепенцы, все «хвосты», завивающиеся у винных магазинов с полудня, — тут твердо знают, что водка победит; к «верхним» принадлежат уткнувшиеся в кормушку власти (среди них не только старье, приспособляющееся к переменам, но и молодые карьеристы, хорошо поймавшие момент), этих мещан можно встретить на всех общественных ступенях, есть они и в руководстве творческих союзов, и в учреждениях, причастных культуре. Они не только зубоскалят, лгут, тормозят дело, но умеют и бить.

Верхние мещане успокаивают себя тем, что происходящее сейчас — не более чем кампания. Важно не дать ей перейти в неотвратимую реальность, удержаться на плаву, а там начнется прежняя необременительная имитация деятельности, безмятежное очковитительство и много сауны с коньяком и икрой.

Как любят они муссировать тему: все только болтовня, до дела не дойдет. Обратимся к истории и вспомним, с чего начиналась Французская революция: с раскатов зычного голоса Мирабо, пошатнувших трон. А потом зазвучали громы Дантона, романтическая речь Демулена, опаляющее краткословие Сен-Жюста, неумолимая адвокатская логика Робеспьера. И Французская революция свершилась. Вспомним куда более раннее время, нет, довременье: «Вначале было слово»... А уж потом возникло творящее действие.



Да и как обойтись без слов, если у людей челюсти светят от молчания? Их надо, необходимо разговорить, достучаться до их сердца. И неуклонно, неумолимо, с замечательной настойчивостью М. С. Горбачев на всех встречах с народом убеждает: говорите все, что думаете, говорите только правду, ничего не бойтесь, приучайтесь жить при демократии. Да, чтобы начать всерьез перестройку, надо было прежде всего нарушить немоту. Суесловие и славословия последних лет были формой мертвого безголосья. Оправдывалось старое циничное утверждение: язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. И как многих это устраивало!

Делающие вид, что все происходящее «лишь слова, слова, слова» — мол, пусть себе болтают в газетах, по радио, телевидению, на собраниях, главное, не обращать внимания, — на самом деле смертельно боятся этих слов и пользуются каждой возможностью, чтобы зажать людям рот. Притворяются глухими, не отвечают на письма, запугивают, распуская угрожающие слухи, словом, хватаются за малейшую возможность повернуть на старый лад, когда так уютно было «в молчании ночи тайной». Знают, что не для них новая эпоха, вот и вцепились в свои незаконные, противоречащие сути социализма преимущества. И забыли, что социализм платит по труду, а не по чину.

Во всем новом видят они угрозу своему благополучию, им ненавистны всякие преобразования, они стараются забыть о последнем съезде партии, как забыли и почти вытравили в народе память о XX съезде. Они страшатся поворота к индивидуальной инициативе, ибо тогда еще заметнее станет их ненужность. Они душат критику, прикрывая свою самоохранительную трусость фальшивыми воплями о том, как мы будем выглядеть во враждебных глазах! Почему мы должны жить с постоянной оглядкой на западный мир, как бы чего о нас не подумали? Наши дела касаются только нас, а уважения заслуживают лишь гласность и свобода общественной совести. И сейчас мы

стали куда сильнее, чем прежде, — и сами по себе, и в глазах других народов, ибо обрели гласность.

Конечно, я всеми четырьмя конечностями за гласность, за правду вслух, за прямой, открытый разговор обо всем. Но недавно по телевидению шло долгое собеседование, произведшее на меня трагическое впечатление. Десятка два человек обоего пола вели мучительный, исполненный и праведного гнева, и маккиавелиевой хитрости, изворотливости, и дыма слез, и горестно-саркастических улыбок, и высокого гражданского пафоса разговор. О чем? О жизни и смерти, о космосе и вечности, о войне и мире? Нет, о проросшей картошке и гнилой капусте на овощных базах. Шекспировский накал страстей соседствовал с библейской печалью. Я объездил чуть не весь свет и ответственно могу сказать, что такой темы не существует даже в самых захудалых странах. До чего же мы докатились!.. Самое же поразительное: ведущий телевидения так и не смог добиться у торговых работников всех рангов прямого ответа, почему капуста сгнила. Бледно-грязная гора то и дело возникала на экране, а «торговые гости» несли околесицу о решениях минувшего съезда, о взятых на себя повышенных обязательствах, о том, что они не остановятся на достигнутом и все помыслы устремят на благо человека. Точнее, советского человека. Лучше бы их капустой кормили агентов ЦРУ. Картошкой — тоже.

Да, что касается торговли, то, похоже, опять наступила зима тревоги нашей. Куда лучше дело обстояло летом и осенью. Никогда еще в Москве не было столько овощей, особенно огурцов и отличных помидоров, причем не по рыночным — непомерным, а по общедоступным ценам. А ведь нынешний год по целому ряду общеизвестных обстоятельств был куда как труден для продовольственного снабжения, прежде всего овощами и фруктами — выпали из торгового оборота многие районы Украины и Белоруссии. А овощи были. И были праздничные республиканские базары, собиравшие толпы москвичей и умудрявшиеся удовлетворять все спросы без привычного кошмара очере-

дей. И базары эти стали не просто скоплением торговых теремов с нужным товаром, что уже неплохо, но и местом притяжения активной городской жизни, а это, быть может, столь же важно для Москвы и москвичей, как хлеб насущный. Смешно доказывать, как велика роль кафе в жизни современного города. Дело не в «мокко золотистом», бриошах и слобе, а в том, что тут осуществляют-ся человеческие связи. Но уже давным-давно местом общения в столице стали не малочисленные, убогие, потерявшие лицо кафе, а пустыри и подъезды домов, где давили на трюх, и вонючие пивнушки с разбавленным пивом, грязью и папиросным смрадом. Сейчас водку пьют втихара, а пивные закрыли. Чисто миссионерская мера — сразу уничтожить, истребить. А ведь опрятный пивной бар может быть достойным местом встреч после рабочего дня, если все организовать с умом и уважением к человеку. Осенние и предновогодние базары, куда ходили целыми семьями, еще раз заставили вспомнить замечательную фразу Сент-Экзюпери о «золоте человеческого общения», там город дышал, жил, улыбался, люди чувствовали себя пассажирами одного родного корабля.

Вроде бы принято решение об освобождении от учреждений первых этажей домов в центре города, чтобы отдать их под кафе, пиццерии и т. п. Это нужно, как воздух. Нужнее даже снегоуборочных машин, которых опять не хватает. Но дали клич москвичам помочь в уборке снега, и люди отозвались с той обычной охотой, с какой они всегда идут на помощь своему городу.

Едва ли государству с его масштабами сподручно возиться с устройством крошечных — на несколько столиков — кафе, придающих городу такой уют. Почему не воспользоваться всемирно применяемой практикой и не отдавать их в руки отдельным толковым людям, а еще вернее — семьям. Не нужно только пугаться, что такая семья сразу выйдет в Рокфеллеры. Не выйдет; дай бог, успешно сведет концы с концами. Это исконная наша болезнь: не самому стремиться к чему-то лучшему, а сле-

дить, чтобы лучше не стало соседу. Пора бы от этого отвыкнуть.

Я не устану повторять, как истосковались люди по свободному общению. От официальных сборищ всех давно мутит, неистребимо в человеке желание самостоятельного выбора. Никто не гонит, не созывает людей в Битцевский лесопарк, что в районе Чертаново, а там в выходные дни припарковаться негде. Здесь действует под открытым небом необычная выставка — каждый житель столицы, независимо от уровня профессиональной подготовки, или вовсе без нее, может представить на обозрение сограждан «продукт» своего художественного творчества: картину, рисунок, скульптуру, аппликацию, вышивку, хоть глиняную кошку — дешевую рыночную отраду. Никаких отборочных комиссий — полная свобода творчества. Но отбор — произвольный — происходит, и уродливые кошечки, равно и другая пошлость, исчезают, а доброкачественных вещей становится все больше<sup>1</sup>.

Как меняется время! Многие помнят, что первую несанкционированную вышестоящими организациями художественную выставку «счистили» бульдозерами.

А сколько новых самодеятельных студий возникло! Наконец-то получил площадку для творческого эксперимента Марк Розовский — режиссер-скиталец. А ведь он когда-то ставил интересные, острые спектакли на сцене театра МГУ, успел создать крошечную чудесную студию при Литературном музее, которая прекратила существование вместе с самим музеем, мешавшем «осударевой» дороге Якиманке. Давно пора бы восстановить этот музей, по праву считавшийся одним из самых важных культурных центров Москвы. Ныне он влачит ущербное существование в виде нескольких разрозненных филиалов. А заодно надо выполнить данное москвичам обещание и восстановить читальню им. Тургенева. Приятное на вид, добротное здание этой старейшей и богатейшей в столице читальни, среди посетителей которой были многие знаменитые люди от

<sup>1</sup> Сейчас выставка переведена в Измайлово.

Короленко до академиков Капицы и Семенова, принесено в жертву очередному пустырю между Чистопрудным и Сретенским бульварами.

Воистину, эту небольшую статью пишу не я, а сама жизнь, которая что ни день подбрасывает все новые темы. Не так давно журнал «Декоративное искусство» обратился ко мне с вопросом: как вы представляете себе судьбу старого Арбата? Я ответил в письменной форме, и если редколлегия не изменила своих намерений, то ответ скоро появится. Суть его крайне проста: оставить Арбат в покое. Но только сейчас — совершенно случайно — открылся мне глубинный и жутковатый смысл вопроса, поскольку журнал не счел возможным посвящать меня в «тайны мадридского двора». Но не бывает ничего тайного, что не становилось бы явным. Тревогой полны письма москвичей, за чьей спиной решается судьба любимой улицы.

Вот такая вырисовывается картина. Если она в частности и не совсем верна — не беда, боюсь, когда она прояснится до конца, будет поздно что-либо сделать. Немного к истории вопроса. Как и всех москвичей, меня крайне беспокоила судьба старого Арбата, который годы был перекрыт, и загадочная возня в его недрах толкала мысль в дурную сторону: Арбат ждет участь Молчановки, Собачьей площадки, Серебряного и других старых прекрасных переулков, сжеванных акульей челюстью Калининского проспекта.

Зловещие ожидания не оправдались, Арбат предстал в своем прежнем виде, только украшенный фонариками. Не разглядев на радостях их конфетного безвкусия, я восторженно приветствовал на страницах «Комсомольской правды» появление чуда — первой пешеходной улицы в Москве. Язык не поворачивается называть Арбат улицей, это город в городе, породивший целую литературу, это начало святой Смоленской дороги, воспетой Симоновым и Окуджавой. И воистину никому и никогда не пройти его из конца в конец.

Но вот начались разговоры о том, что Арбату надо

найти новое культурное содержание. Ведь это не обычная деловая, озабоченная, вечно спешащая улица, хоть и хранящая в старых дворах следы былой романтики, это каменная прогулочная аллея, и гуляющих надо как-то занять. В разгаре культуртрегерских забот выяснилось, что Арбат в угрожаемом положении. Его дома спокон века не ремонтировались, а их фундаменты расшатались и растрескались от метро неглубокого залегания, он иструхлявился изнутри, как старый-престарый боровик. Арбат весь нуждается в срочной реставрации, а городские власти слишком бедны, чтобы произвести эти работы.

Есть лишь две богатые организации, которым по плечу подобные работы: Министерство торговли и Министерство обороны. Любая из них может обеспечить будущее Арбата, но, разумеется, не бескорыстно. Торговцы хотят превратить улицу в своего рода международный торговый пассаж, или скорее — ряды, поскольку перекрытия не будет. Индийская чаеоторговля в орнаментальном, разумеется, стиле пусть соседствует с модной лавкой Пьера Кардена в изящном парижском духе, не возбраняется и союзным республикам раскинуть свои шатры с национальным колоритом. Все это прекрасно, и да обогатится Москва новым торговым центром, только не на старом Арбате. Он для сказок, а не для купли-продажи. Над ним должны шефствовать Музы, а не Гермес.

Военное министерство интересуется Арбатом лишь с точки зрения жилого фонда. Что хуже?..

Арбат — душа Москвы.

— О!..

Жизнь пишет дальше эту статью. Москвичей давно уже волнует, почему закрыто для свободного посещения Новодевичье кладбище, расположенное на территории бывшего монастыря и северо-западного форпоста Москвы — редкого по красоте ансамбля. Это единственное закрытое кладбище в мире. И ныне голос москвичей наливается гневом. Ведь там покоятся люди, которых мы любили и любим: В. Маяковский, С. Лемешев, С. Кирсанов, Н. Смирнов-

Сокольский, В. Шукшин и многие, многие другие. Естественно желание пойти к милым могилам, положить цветы...

Но не только люди искусства, писатели, ученые нашли там место последнего успокоения, их могилы есть и на Ваганьковском, и на других кладбищах, здесь лежат те, чье место только на этом усыпальнице — привилегированные. И кладбище закрыто. В священном писании сказано: пусть мертвые хоронят своих мертвецов, но живые трупы наших дней пошли дальше, они не только хоронят, но и скрывают своих мертвецов от взоров простых людей<sup>1</sup>. А Советской власти меж тем идет семидесятый год.

И дальше пишет жизнь хронику московской скорби. На днях в студеном, просквоженном декабрьским ветром выставочном зале ГлавАПУ в составе жюри конкурса на проект восстановления Сухаревой башни я присутствовал при похоронах воодушевившей москвичей идеи. Подали эту идею и воплотили в проект два очень старых годами, но молодых духом человека: художник-архитектор П. Н. Рагулин и инженер-строитель П. М. Мягков (им вместе сто семьдесят лет). Об их проекте очень много писалось и говорилось, не стану повторяться. Напомню лишь, что среди тех, кто с воодушевлением поддержал проект, — архитекторы М. Посохин и В. Лебедев, академик Б. Рыбаков, прославленный летчик Г. Байдуков, космонавт В. Севастьянов, художник И. Глазунов, поэт и архитектор А. Вознесенский, режиссеры С. Герасимов и А. Згуриди, артист и режиссер С. Образцов, а что важнее всего — тысячи нетитулованных москвичей.

Проект предполагал перенос башни на свободное пространство напротив больницы им. Склифосовского — бывший странноприимный дом Шереметева. Это едва ли не лучшее в Москве здание в стиле классицизма построено по проекту великого Кваренги. Мы знаем по Ленинграду, как прекрасно сочетаются классицизм и барокко.

Старых энтузиастов придушили интеллигентно, в бе-

<sup>1</sup> В настоящее время кладбище открыто для посещения.

лых перчатках. Первую премию дали проекту, по которому башню восстанавливают на старом месте, посреди нынешней Колхозной площади. А рагулинскому проекту дали в утешение вторую премию. Что тут можно возразить? Конечно, куда лучше восстанавливать памятник старины на том месте, где он некогда стоял. Впрочем, Триумфальную арку перенесли, а многие ли сейчас об этом знают? Беда в том, что, по авторитетному свидетельству члена конкурсного жюри — транспортника, работы по восстановлению башни на старом месте смогут начаться лишь через двадцать пять лет. Раньше невозможно создать сложнейшую транспортную развязку — подземные тоннели, переходы, дополнительные проезды и т. п. Иначе строительство парализует Москву в одном из самых ее бойких мест, отрежет от центра северные районы. Иными словами, к восстановлению башни приступят при наших внуках и правнуках. Сто пятьдесят миллионов рублей будет потрачено до начала восстановления башни, боюсь, что остальные деньги наши потомки не наскребут.

Проект Рагулина — Мягкова никак не связан с транспортными проблемами, их башня не мешает потоку машин, стоит в стороне, и строительство ее можно начать хоть завтра. Станет оно миллионов в десять, и уже есть подрядчик, берущий на себя две трети затрат, — Министерство морского флота. В Сухаревой башне находилась первая в стране навигацкая школа — колыбель русской морской славы, созданная Петром I. Проект предполагает установку памятника великому реформатору России. Москва словно забыла, что породила его, городом Петра стал Ленинград.

От решения авторитетного жюри не отмахнешься, но что предпочтут москвичи: Сухареву башню на старом месте лет через тридцать или на новом — года через три-четыре? Сейчас судьба Сухаревой башни волнует всех: и тех, кто хорошо помнит «Невесту Ивана Великого» и шумный рынок округ, и тех, кто слышал рассказы о ней от старших, волнует вообще всех москвичей с их пресбудив-



шимся жарким интересом к прошлому столицы. Мы крепко затосковали по нашим корням, надоело быть Иванами не помнящими родства. Башня сейчас, как говорится, «сыграет», сослужит добрую службу историческому, эстетическому и патриотическому воспитанию граждан, в первую очередь молодых. Но будет ли она так нужна через три десятка лет — весьма сомнительно. Кто знает, какими окажутся наши таинственные потомки, если мы и впредь будем не воскрешать, а уничтожать московскую старину, историческую память? Да, может, они и глядеть на нее не захотят; их зачерствевшим душам автомобилистов важна будет лишь транспортная развязка, а не красный непонятный торчок посреди площади.

Куда вернее и справедливее предоставить самим москвичам решить судьбу Сухаревой башни.

Сказанное оносится и к Красным воротам. Раздаются авторитетные голоса, что не нужно их восстанавливать, достаточно нарисовать на торце высотного дома по Лермонтовской площади.

Есть, правда, и другое предложение: сделать мозаичное панно, но первый вариант, по-моему, перспективнее. Давайте нарисуем все исчезнувшие памятники старины, потом нарисуем исчезнувшие продукты, эдакие натюрморты в духе Снайдерса, и тем обеспечим Москву условной снедью, а там нарисуем ультрасовременные машины с сформированным двигателем «турбо», красивую одежду, не забудем наимоднейшие дамские сапоги, нарисуем стадионы, где вчерашние алкаши бегают кроссы, прыгают с шестом и толкают ядро. И может быть, нам станет так же хорошо, как Алисе в стране чудес.

Или все-таки останемся в нашем несовершенном мире, в котором еще очень трудно, очень неустроено, неуютно и порядком уныло, но где уже громко, освеженно зазвучали наши голоса, говорящие о том, что мы не желаем жить по-прежнему и что у нас хватит сил заладить другую, достойную, нарядную, богатую и духовно и материально жизнь. И голос Москвы далеко не последний в великом народном хоре.

20 к.

В первом полугодии 1987 года  
в библиотеке «Писатель и время»  
вышли книги:

Л. Жуховицкий. Докажите ценность любви  
А. Иващенко. Железные всходы  
В. Лойша. Логика риска  
Г. Резниченко. Бригадир  
В. Светиков. Последняя граната  
А. Старцев. Полгода в море  
В. Христофоров. Посох удачи  
Ю. Щекочихин. На качелях

Над книгами библиотеки «Писатель и время» работают писатели: В. Амлинский, Л. Беляева, Ю. Бондарев, Т. Гайдар, Ю. Галкин, Д. Гранин, Г. Лисичкин, Д. Лихачев, Б. Можаяев, В. Распутин, Н. Федоренко, Р. Хакимов.